

84(2р-Балк)
Б182
1265857

БАЙЗУЛЛА

АЛИ



Am Dan

4Р

АЛИ БАЙЗУЛЛА

С
Н
Е
Г

7-585982

Стихотворения

И
З
О
Л
А

НАЛЬЧИК • "ЭЛБРУС" • 2006

РЕДАКТОР

УДК 894.312-1
ББК 84(2р-Балк)
Б 182

СИДРЕ*

За Сидре я не рвусь, но желал бы приблизиться,
чтобы под кроною вечного Древа уснуть: набраться
сил, проснуться и встать – оглядеть золотое свер-
кание Вселенских миров, выбрать галактику, как
девушку на пиру, и безумно влюбиться в нее, – и
лететь, и лететь в пустоте и пространстве на да-
лекую россыпь жемчужную мерцающих звезд бес-
численных галактики милой, светлой и дальней:
галактики сердца, галактики вольной чистых раз-
думий

о милых и светлых,
о далеких и вольных
собратьях по Разуму...

За Сидре я не рвусь,
но к Сидре я приду,
когда я наброжусь
в нашем грешном саду,
где цветут абрикосы,
и каштан, и терновник,
и где девичьи косы
расплетает любовник,
где за темной грядой
солнце кровью дымится,
где падучей звездой
боль под сердцем гнездится...

* Пограничное дерево между Раем и обителью Бога.

Убежать бы... Куда?
Куда дену я мать?
Берег светлый пруда,
от тебя ли бежать?
Родина, светлая мать,
ты живи, как жила!
От тебя ли бежать,
в сером мохе скала!

Ходит-бродит народ.
Вижу, солнце садится,
снег вершин серебрится,
вечер тени кладет.
И холмы – как мазары*,
и ущелье – как грот.
Солнце село на запад,
ночь с востока встает...

Спекулянты, давитесь!
Ваши – коньяк и пирог.
Но к Сидре же не рвитесь!
За Сидре обитает лишь Бог!..
В горький час мой усталый
ты, душа, поняла
символ родины малой –
СНЕГ, СКАЛА И ЗОЛА.



* Хазарские могильные курганы.

I

Лежат барханы в вековой гордыне,
ночами звезды падают, как снег, —
но караван любви идет в пустыне
и с хлебом, и с водой великих рек!..

Благослови дорогу каравана,
к иным мирам нацеленный мой век!
Она — и горький след кровавой раны,
она — и жизни непрерывный бег!
Глядит на мир безоблачное небо,
рыдает ветер в огненных песках,
но караван идет с водой и хлебом,
блуждая в вековых солончаках.
А где-то дождь — как кудри недотроги,
а здесь жара — как в сердце от тоски:
но караван идет своей дорогой,
и оживают мертвые пески!..

Я жду тебя, мой караван, идущий
дорогой, где слышны и плач и смех,
благословляя твой приход грядущий —
и с хлебом, и с водой великих рек!



II

Я гляжу в твои карие очи,
но зеленые вижу глаза.
Соловьиные темные ночи,
нецелованная краса!..

Мной одним ты живешь и дышишь
и, как в собственный,ходишь в мой дом.
Но страдальца во мне не отыщешь,
не страдать мне уже ни о ком.



III

Парил я в жизни Синей птицей,
свежей и звонче был ручья:
восторг из-под твоей ресницы
не ярче был, чем мысль моя!

Не суетись в нужде так много,
что пользы нам от суеты?
Без благ земных в земных дорогах
скорей сбываются мечты.



IV

Слева скалы, справа горы,
всюду камни да пески.
Довела меня до горя,
до печали, до тоски.

Я иду, бреду дорогой,
слышу посвист соловья.
У меня в душе тревога:
где же милая моя?

В доме милой – дверь закрыта,
свет в окошке не горит.
Знать, любовь моя забыта
и сердечко не болит.

У меня есть довод веский –
не видал ее давно:
очень часто занавеской
занавешено окно.

Я поеду вдоль Басхана
до пастушьего огня.
Я любить тебя устану,
будешь плакать без меня.

Слева скалы, справа горы,
всюду камни да пески.
Доведу тебя до горя,
до печали, до тоски!

V

Мне снится и снится: и только во сне я живу,
крутя киноленту о светлых страданиях,
и слышу, как корни деревьев, оплакав траву,
мечтают со мною о звездных свиданьях;
но в сердце не спит о несбыточном темная грусть
преданий и сказок, в душе – сожаленья,
как ночи столетий: в потемках иду наизусть,
где совами мрака таятся стремленья
к бурям и ливням шумящих, как листья, времен,
в которых я счастлив и счастливы дети,
которым святую химеру пророчит мой сон,
где светлое солнце незримое светит...

Что наша, о милая, с ревом текущая жизнь?
Работа, работа... для рта и для тела...
Во мраке вселенной нейтронные звезды зажглись!
Что людям они? И какое нам дело!
Другое томит тебя, юная, приткая дрянь:
как звезды – глаза! Ты бормочешь: «Мой милый!..»
Слеза болевая блеснет, как алмазная грань,
а тайны вселенной... проносятся мимо.
О странные странники, ангелы звездных дорог,
пространство и время для вас – не помеха:
как старец галантный, галактика дремлет, как бог,
сиянием звезд нам желая успеха.



VI

Когда постареешь, не мне
смотреть предзакатную выюгу:
я буду в нагорной стране
слагать мои песни о юге.
И в грезах российских берез
я вижу иные виденья:
в них будущей жизни мгновенья
как благоухание роз!



VII

Мне грустно: знаю, ждешь ты ласки.
Блеснула и ушла слеза...
О, что мне делать? Прежней сказкой
тебя обманывать нельзя.

Нельзя вернуть былые годы,
хоть не было веселых дней.
Я долго ждал твоей погоды:
любовь я ждал и ждал детей.

Любовь ушла. Река забвений
твой тонкий стан отозвала:
погас огонь былых волнений,
на сердце даже нет тепла.



VIII

Козы рогатые, выставив морды,
будто бы черти, бредут по земле.
Ива плакучая. Звездные орды.
Травы лоснятся во мгле.

Простоволосою женщиной в скорби
ивушка-ива стоит у пруда.
Певчая лунность. Безмолвные корни.
Тихая светит вода.

Ива плакучая, ивушка-ива,
сердцу приснилось, что стало светло:
мне полюбить захотелось красиво,
время такое пришло!..



IX

Истины вечная боль,
вечная сладость обмана:
плакать в восторге изволь
в тихом лесу Гюрхожана.

Как муравьиная ночь,
пропасть твоих подземелий:
горная серна, ты – дочь
крутоскалистых ущелий!..

Сладкий, как в детстве, мой сон
в летние, звездные ночи:
тайная бездна времен –
юные, карие очи!..

Дай мне не истины боль,
дай же мне сладость обмана! –
Плакать в восторге позволь
в тихом лесу Гюрхожана.



Х

Между нами – поток, ты – на том берегу, я – на этом.
Ветер в спину подул, я его посылаю с приветом.

Пусть привет мой омоет лицо твое грустным дождем.
О скалистый мой берег, ответа с тобою не ждем!..

Вспомни, глупая, профиль могучего льва перед сучкой,
от которого львица ушла перед самою случкой.

Пусть не страшно все это, но помни об этом и знай,
и отраву мою помаленьку, как чай, выпивай.

Да и я твоим ядом упьюсь, как вином, чтобы гневно
в песнях сердца набатом гремела душа ежедневно!..

О любовь! Солнце только взошло, но закатится вновь.
Оно снова взойдет, не взойдет только наша любовь.

Ветер в грудь мне подул, но не слышу на зов мой ответа:
между нами – поток, ты – на том берегу, я – на этом.



XI

Стонет гора под зеленым платком,
невинная девушка плачет:
гордый жених ее машет клинком
и скачет – никак не доскачет.

Конские ноги изранены в кровь
и пылью засыпаны раны.
Смуглая кожа – мечта и любовь,
на склоне алеют тюльпаны...

Где ты заветное прячешь кольцо
с коралловым камнем химеры?
Всадник не скоро взойдет на крыльцо,
душа же тоскует без меры...

Конь мой убит и потерян клинок,
оборван, плетусь я, стеная.
Может, ей что-то напомнит сынок,
но друга она не узнает.

Смуглая девушка, муза моя,
невинная крошка, ты плачешь?..
В мире практичном под песнь соловья
разве до цели доскачешь?



XII

Упал туман, вспотели стекла.
Рисую на полях чертей.
Дымятся городские окна
в тревожном рокоте дождей.
Вчера она была девчонка,
сегодня – девушка вполне:
и гибкою рукою тонкой
чертит узоры на окне...
И я – не сфинкс, тысячелетья
я не гляжу на дождь и снег,
и все ж, надеясь на бессмертье,
велик, ничтожный человек!
Ведь я умру и надо мною
поплачет ближний, что за труд!
Так над опавшею листвою
дожди проплачут и пройдут.



ХІІІ

Словно белою кипенью
взорванная мина —
среди зелени и сини
белый куст жасмина.
Он — как легкое дыханье
ранних сновидений:
в водах — лилий колыханье,
в сердце — опиум видений!..

Я — не жгучий,
я не прежний,
я — тихое свеченье,
хранящее среди снегов безбрежных
жасминовой души влеченье.



XIV

Мирабель расцветала в горах,
расцветала сирень во дворах,
и бездонною синею чашей
опрокинут был свод голубой,
когда я на поляне у чащи
погружался в твой взор молодой...

Мирабель созревала в горах,
и калина краснела в садах:
под звездою, от боли кричащей,
под осенней холодной луной
на мосту, над рекою рычащей,
я навеки расстался с тобой...

А сегодня – снега на горах,
и сугробы лежат во дворах,
и свинцовою серою чашей
надо мною висит небосвод;
но мне чудится майская чаща
и мерещится – нас она ждет.



XV

Молодая, но с женственным тазом,
губы полные были свежи!
Я, бывало, хватал ее разом
и со смехом на спину ложил!
Звезды южные, ветер летний
и, как смутный мой сон, луна.
Так смеялась она ответно,
и счастливой была она!..

Ах, тюрчанка, ты – из-под Ташкента,
кареглазая, свет и мед!..
Видно, прошлое, как киноленту,
память крутит и не устает.



XVI

Пусть в сердце взрывались столетья
и плакал порою, но жил
затем, что и в дни лихолетья
я верил тебе и любил.

Пускай наши мысли на деле
миры сотрясать не могли,
но в грезах мы к звездам летели
во имя родимой земли!..

Так хочется с доброй улыбкой
с одним лишь желаньем любить,
под звуки чарующей скрипки
при лунном сиянии жить!



XVII

Отцвели, как сады, и опали
пустоцветы надежды моей
и, как желтые листья, упали
грезы юные с грешных ветвей.
Не была юность грубой и пошлой,
все ж не там интеллект я искал:
потому не печалюсь о прошлом,
что авансом его отстрадал...
Завтра всякое может случиться,
но минуй нас любви вражда,
когда в окна нахально стучится
равнодушной рукою беда!



XVIII

К р е с т.
Березовый шест
да перекладина.
Л а д н о!..

Осторожно, мальчики, осторожно!
Как бы вам не ославиться, не пробиться!
Ведь любовь, как огонь острожный,
неотвратимо, но осторожно
обязана в сны пролиться!..

А за городом, где горы,
где чист и прозрачен воздух,
в небе,
как маяки на море,
горят ее чистые звезды
и светлорусыми облаками
кудри ее — над нами,
как будто плывем мы сами
в Заозерное бытие.
Все это было ее!..

Люблю ее сумрак прохладный:
березовый крест да холм —
щемирительно не отрадный,
вечно одинокий дом...
Забуду леса и рощи,
забуду себя, между прочим,
но однажды придет она,
ранимая, кроткая Света,
и осветит всю область сна
прошлого чудным светом,
но и все же
горькую складку лба

усталое сердце почует:
краткая эта судьба
беды мои
 не врачует...

А всего-то была больница —
от инея синяя, как куница.
И лежала она — белолицая,
как в метельной пыли синица.



XIX

Уже она не снится мне ночами,
уже давно другую я люблю;
но как мне сладко, если я случайно
в других чертах черты ее ловлю;
так сердце бьется трепетно и часто,
когда мелькнут подобные глаза:
немногословный, становлюсь речистым
и обнимаю мыслью небеса!
Любовь моя, с зелеными глазами
и волосами, словно антрацит,
со мною рядом чудишься ночами,
но это – память лишь со мною спит.
И эта память, как портрет, осталась
у моего печального огня:
с тех самых пор, как ты со мной рассталась,
она одна под сердцем у меня.



XX

То ли росы в ветвях, то ли слезы?
Эй, влюбленный ночной соловей!
Розы спят, но их сонные грезы
убаюканы трелью твоей!

Соловьиные трели и слезы,
ветер древний, по-новому вей:
пусть над розами, но не о розах,
одинокий поет соловей.

Щелкни, свистни, листву раздвигая
певчим горлом, властитель ночной!
Ты восторги для всех исторгаешь,
но восторжен ты только одной...

Соловьем заливался я, Роза, –
были росны цветы и кусты:
на восторг, на мольбы и на слезы
встречной песни не бросила ты!



XXI

Мне вспомнились черные косы
и алые маки степей,
и очи — темны и раскосы
под взлетом тончайших бровей.
Меркенские вижу закаты,
где горы — почти у села.
Я был этой девочке братом,
она мне сестренкой была.
Щемящей объятый тоскою,
я слушаю горный поток...
Туманы ползут над рекою,
плывут облака на восток.



XXII

Над темным миром две звезды горели
чуть видимы в туманной вышине.
Так звезды ваших глаз мерцали еле
в тумане грез в полночной тишине.

И было время помечтать о счастье,
все было вновь – на небе и земле;
и было сладко оттого, что часто
ладони грез лежали на челе.

Вы и тогда одни меня любили,
когда меня, как стая гончих псов,
свои собаки рвали и травили:
кровавый след души – от их зубов.

Пусть звезды ваших глаз мерцают еле
в тумане лет, как прошлого урок.
Спасибо им! Они в душе горели –
и в грустный час я не был одинок.



XXIII

Она – кобылица Синайской пустыни,
я – ветер пугливым ушам ее тонким.
За нею стремясь, над песками златыми
самум подымаю голосом звонким.
Она – вороная, агатовой масти, –
летит подо мной, как стрела массагета,
и, звезды сжигая дыханием страсти,
копытами дробит войлок рассвета.
Никем не объезженная кобылица
объезжена ветром под ризой самума,
чтоб вечно о звездах томиться и биться
о камни страданий агонией пумы...

Но ветер, бездельник, он скоро отстанет,
а беременная кобылица устанет:
родит человека и женщиной станет,
но сердце ревнивое злобой изранит
и после начнет она многих тиранить,
покуда забвенье страстей не нагрянет.

О вечная горечь – слепая планида
страстей без любви и любовей без страсти!..
Душа моя – ядом измены облита! –
себе изменяет в сетях ее власти!



XXIV

Приятно быть первым у женщины
и – в обыкновенной игре.
Первым – пусть даже бешеным! –
на белом шатре,
на могильном бугре!..

Когда мои кости омоют подземные реки
и белей алебастра станет скелет,
тюркам, славянам и грекам
расскажет о Первом первый поэт.

Клинопись скажет о первой битве,
хотя это было давно;
Библия скажет о первой молитве, –
о первых звездах – никто!

Кто мне о первой любви расскажет
дикарки и дикаря?
Кто мне первым сегодня укажет
на первого в мире царя?

Не радует солнце ежедневной удачи,
хищное око – прожектором по стране:
предпоследний Первый в одиночестве плачет –
последнего Первого увидел во сне.

А последний Первый – среди первых первый
укротитель мустангов и львов, –
лежит меж чреслами первой стервы
на белых подушках млечных бугров...

Подбери подол свой и, сарадинкою,
во имя первой своей любви,
возьми ведро мое цинковое
и корову мою подои!

И оставь мне веру, что я первый
обыкновенный, хмельной и простой,
с обыкновенными нервами,
с обыкновенной судьбой
и, кстати сказать, с обыкновенной женой!



XXV

Малюточка, ангел, дрянь,
я знаю, что я ошибался:
прощай, и прости мою брань,
с другими я хуже ругался.
С тобою я сдержан вполне —
твои мировые задачи,
хитрейшая Леди удачи,
смешны мне при этой луне.

Пускай параллельны пути,
но разны конечные цели;
и то, что храню я в груди,
твои канарейки отпели,
отпели, поверь мне, давно
и забывать уже стали;
от ласковых виршей устали
и шторой прикрыли окно.



XXVI

На фиолетовом небе звезды
сверкают, как кристаллы.
Под ногами снег нервозный,
ветер уснул над хребтами.

Я слышу хруст под шиной,
хочу пред тобой покаяться:
и пью я холод вершинный
в снежинках звезд сверкающих.

Звездами стали глаз росинки,
что проснулись так рано.
Я бессилен, как иней синий,
в их мерцании странном!

Дайте глядеть мне на звезды —
я нос задирать не буду!
Пусть разбудит зимний воздух
песню любовной бури!

Сердце набухло, набившись
сочными бедами ранними:
хочу, чтоб оно забилося,
рождая песню странную.



XXVII

Сонное солнце, как желудь,
в груди моей стынет.
О ветер, тугой и желтый,
зачем ты лижешь пустыню?
Шершавой, горячей ладонью
погладь тростники у сердца:
над ними – ливни долгие,
над ними – небо серое.

О ветер, тугой и желтый,
зачем ты лижешь пустыню?
Раздуй мое сонное солнце,
иначе сердце остынет.
Под ливнями сердце знобило –
небо падучими звездами било:
та, что меня любила,
мною была нелюбима.

Сердце так часто знобило,
но не было утешенья, –
долгие ливни били
по моей упрямой шее,
и сквозь рот, глаза и уши
мелодией грустной проникли
в предрассветную душу
и листья садов поникли.

О ветер, тугой и желтый,
о чем ты в пустыне где-то?
Раздуй мое сонное солнце,
верни мне сны рассвета!
Идут непрерывные ливни,

и там, безмолвное сердце,
миг горя, неслыханно длинный,
страх и панику сеет...

Зоревали когда-то розы,
как капли горных закатов.
Теперь же – лилии робкие
с бледными лепестками.
И там, где сочные травы
баюкали белых ромашек,
ветер неслыханно рано
огненным факелом машет.

О ветер, тугой и желтый,
прочь из проклятой пустыни!
Раздуй мое сонное солнце,
верни мои сны золотые!
Я верю в твое чародейство,
ты под звездным мерцаньем
самый могучий и дельный!
Сорви с меня листья страданий.

Ты – мед, которого жажду
для наслажденья и пользы!
Ты – тот, которого жадно
ловлю под крышей и в поле!
Ты – свет, о котором мечтаю,
погружаясь в аспидную темень!
Ты – снег, который не тает!
Ты – вечность, и вечен, как время!



XXVIII

Когда же уходит любовь
куда-то, как-будто в изгнанье,
щемящими крыльями слов
влетает воспоминанье.

Как осенью листья с берез,
отходят боль и страданья, —
хрустальным источником слез
становится воспоминанье.

Утешился чьей-то весной:
казалось, забыл и название,
но уханьем птицы ночной
врывается воспоминанье!



XXIX

В синих тучах луна посинела
синим звездам на зависть и страх,
Ах, какое синее небо! –
Поглядел – посинело в глазах.

Ели синие в пламени синем
в сердце синее неба вошли;
синим кажется воздух осенний
и леса посинели вдали.

Я хожу – все вокруг индевет
и синеет, окутано сном.
Даже чудится: сердце синеет
под синеющим чьим-то окном.



XXX

Любовь от темени до пят во мне горит
с библейских островов истории планеты:
то, как зажат – в огне, то, как метеорит,
сверкающей строкой чертит слова привета!

Падучею звездой в груди моей сгоришь,
когда в судьбу мою ворвешься ты без спроса.
О, как тебя люблю! О, как ты вся дрожишь,
кивая головой, как утренняя роза.

Гори же, сутью жизни ставшая любовь,
неотразимая – как очи недотроги!
Сияй же, свет души! Молчи, не прекословь!

Подвластны сердцу, мне восторг твой и тревоги...
По хрупкому снежку взошла ты на крыльцо,
неотразима вся – и руки, и лицо!..



XXXI

Прощай, залетная девчонка,
любовь короткая, как май! —
Махни с автобуса ручонкой
и лихом нас не поминай.

Но в дни, когда клубятся тучи,
ты думай: есть в горах места,
где человек стоит над кручей,
не зная горя никогда...

Тебе легко подумать это,
залетной птице молодой:
ты прилетала только летом,
гостила с шиком и — домой.

А мы живем зимой и летом —
душа кровава, как закат...
Ты прилетела к нам с приветом,
с восторгами лети назад!



XXXII

Есть великая смерть – смертоносная жизнь,
та, что светит, не грея, не греет, светя.
Моя прошлая жизнь, лунным светом струись,
о красивое, глухонемое дитя!

Есть такая любовь, что признаться в любви,
словно взял и кого-то зарезал ножом:
тайна этой любви полыхает в крови,
извиваясь в груди темно-желтым ужом.

Слабо сказано, а не сказать тяжелей,
так и бродишь с желаньем убийства в душе:
ты в азарте прицелился в клин журавлей,
но дрожит твой прицел, ты – их пленник уже.

Об убийстве мечтаешь, но ты не убьешь,
это – нечто, что самоубийству родня:
не согреешься ты, но сто лет проживешь,
лунным светом струясь от чужого огня.



XXXIII

Как в цвете яблоню весной,
простую, добрую, родную
любил я девушку земную
любовью пылкой, неземной.
Я знал, ей надо бы – земную,
но я небесное умел,
а потеряв ее родную,
я по-земному вдруг запел...

Прошли года... Я взор ловил
небесной девушки прекрасной,
но понял, страсть была напрасной,
я по-земному полюбил.
Не ошибиться бы мне дважды,
но я... земное лишь умел;
и, потеряв ее, однажды
я вновь небесное запел...

И жду я – кто же озарит
меня улыбкою небесной
и за мои земные песни
земною лаской одарит?!



XXXIV

Ты – белый призрак
синевы небесной;
цветок,
качающийся на ветру;
видение
весны моей чудесной,
с росой исчезнувшее
поутру;
богиня страсти,
лепет вдохновенья;
галактика
божественных огней...

Как жаль, что ты –
всего лишь сновиденье
о молодости
на закате дней.



XXXV

...И был
великий и могучий Рим —
прапрадед ваш,
фашист и мафиози.
Он зрячим был,
а не слепым:
он буйствовал,
но знал и слезы.
Великая Империя,
ты где?
Где консулы твои,
оракулы,
поэты?
Ты —
лунный отблеск на воде,
ты —
прошлого безмолвный ветер...

В глазах твоих, туристочка, метель!
Я — не с тобой,
но ты уже — со мной:
всемирного фашизма колыбель —
твой чудный край,
твой край родной.

И кроме Рима
также были в мире р и м ы !
Также были
тайфуновые бури!
Но все же — мы не римы,
не будем мы
такими,
такими мы не будем!..

Целуй и обнимай!

Ты —

пьян, поэт.

Не замыкай уста,

как пломбой!

Ведь над турбазою «Ч е г е т»

плывет

не золотая бомба,

плывет луна,

пьяна,

как ты, поэт, и — как она!



XXXVI

Вот и все. Как змея подползла.
Обвила мое тело в кольцо.
Укусила и вдаль отползла,
показное отбросив лицо.
И змеиный свой след замела
волосами, как черная ночь,
вся в избытке – и льда, и тепла,
наших гор ядовитая дочь!..
Это, брат, не укоры людей,
это, брат, пострашнее, чем ад:
Вий сомненья и нечисть страстей
в храм войдут, не сочтешься утрат!
Я познал этот ад до конца,
но бежал и замкнул этот круг –
из змеинового вырвал кольца
я и бренное тело, и дух.



XXXVII

Когда в плену нескромнейшей мечты
я славил прелесть женской красоты,

какой-то демон за моей спиной
стоял и лист чертил моей рукой,

и проявлялись мысли между строк:
– Ты лицемеришь, братец, видит бог!

Давно не веря женской красоте,
ты крест поставил на своей мечте

и, умертвив прелестный идеал,
в стихах и жизни по привычке лгал

наивному читателю о том,
что гурии одни живут кругом;

что их глаза – не просто так глаза,
а звезды, что их мутная слеза

подобна чистой, утренней росе.
Протри глаза, туман души рассей,

судьей холодным опыт расспроси
и миру истину провозгласи,

что я вот, демон, их великий бог,
в плену лишь мной начертанных дорог

они идут и ложная слеза
туманит их коварные глаза;

душа их – переменна и черна,
им чувственность мужская лишь нужна;

идей восторженных они не чтут
и ради выгоды минутной лгут;

и песенки твои для них, мой друг, –
оборванной струны никчемный звук!..

Но демон уходил, как страшный сон;
не мной одним, на счастье, занят он, –

и я отбрасывал сомненья прочь:
так солнца луч отбрасывает ночь

и зарождает песни певчих птах,
сметая суеверный птичий страх

перед ночью хищницей совой,
и дарит свет с небесной синевой.

И вновь я женщин воспевал тогда,
но смутный страх томил меня всегда,

что демон мой придет порой ночной
и снова станет за моей спиной,

моей рукой чертя свои права,
диктуя мне презренные слова.



XXXVIII

Фузе Бештоковой

Не зная ни грусти, ни слез, ни гордыни,
блистая, как в тучах луна,
когда-то лукавой, безгрешной богиней
жила между нами она.

Любя, как сестренку и как человека,
бывал я порой поражен
полетом ее беспричинного смеха
среди опечаленных жен.

Когда непонятные наши печали
к ней в душу влетали порой,
ее молодые ресницы дрожали
пусть легкой, но доброй слезой.

Подвижные мысли одну за одною,
как тучи за тучами, вдаль
она исторгала, бывало, толпою,
но это была не печаль.

Но годы... чужая среда и столица
ей дали так много невзгод:
подбитая, но не убитая птица, —
болезненной мысли полет.

И голос печальный, и грустные очи
с глубинною болью зрачка,
таят неудачи и долгие ночи,
где властвуют желчь и тоска...

Слепая Фортуна и благостный Случай,
в каком затерялись краю?
О Боже, ты грешницу эту не мучай
в чужом и коварном раю!

Подай ей наитье в сей жизни дождливой,
чтоб было и ей суждено
явиться на веточке спелой сливой,
коль деревом быть не дано!



XXXIX

Поэзия! Муза! Безумно люблю
тебя я на горе, но ты мне нужна:
и пусть я, сгорая, себя погублю,
за то мне бессмертье подарит она...

О Совесть! Ревнивая, злая жена,
и что ты не сделаешь, все ей – не так:
во всех мелочах копошится она,
всегда контролирует каждый мой шаг...

Любовь! Эта прелесть всех больше нужна,
но как же строптивую мне покорить?
Пуглива, как лань... убегает она:
с соперницами не желает дружить...

Поэзия, Совесть, Любовь: никогда
измену себе не прощали они.
Морали и правды святая звезда,
ты трем этим женщинам не измени!



XL

Уплывали луна за луной;
отгорали в закатах недели;
тучи ливнем прошли над страной.
Шел я долго и, право, за делом:
дело странное – сон и тоска
болевого знакомства с разлукой.
Счастье зыбилось, как облака,
уплывая оторванным звуком...
Для меня твое имя темно,
но не слышал милее на свете:
словно имя галактик, оно
мне далекими звездами светит!
Что за звезды! Надежда молчит.
Сердце пламенное – бескорыстно,
но так больно в пространство кричит:
ничего не бывает вторично!..

Сострадательница Пикассо
и несчастных, что в жизни стонали,
в твоих безднах, быть может, мой сон
расшифрует земные анналы!
Не ворованы эти слова,
как Вселенной раскрытые раны:
ты – из пятого вещества,
сердце бурное в протуберанцах!



XLI

Сверкает белыми снегами
гора в предутренних лучах:
люблю отчизны снег и камень!
Не дай мне слепоту, Аллах!

Шуршит трава, щебечут птицы
и ручеек журчит в кустах, —
и это будто все мне снится.
Не дай мне глухоту, Аллах!

Неприспособленный и жалкий
для дел мирских в людских глазах,
к иному я стремился жадно:
не дай с пути сойти, Аллах!

Во власти слабости минутной
я проклял мир в крови, слезах:
так горько мне и неуютно —
не дай жестокости, Аллах!

От кровожадности и зверства
хранила совесть, а не страх:
среди ханжества и лицемерства
не погуби меня, Аллах!

В дерьме тупой молвы по брови
с сарказмом желчным на губах
у ног загубленной любви
не дай мне умереть, Аллах!



XLII

Бывает обманутым каждый,
но все же, страдая сполна,
мечтаем, что встретим однажды
ту Светлую – ту, что – Она.
Но годы идут, и обманы
прельщают и тело, и дух:
и грезы уходят в туманы,
и гаснут надежды, как звук...
Но вечно с тобой остается
о юности сон голубой,
который легко поется
и душу чарует собой!



XLIII

Случайная встреча. Твой взор,
как осени воздух, холодный:
в нем гордый, безмолвный укор,
как зверь в зоопарке голодный.

Ну что же. Пора забывать.
Былое не стоит вниманья.
Наверно, не стоит страдать,
хотя ты и стоишь страданья.

Иные пришли и прочли
в зрачках моих боль и страданье,
но образ твой в них не нашли,
чтоб выразить мне состраданье.



XLIV

Два огня, две стихии, две раны –
шрамы наши горят и слепят.
Ах, как поздно! А было так рано –
словно в розах, валялся в бурьяне
и о счастье мечтал наугад.
Помню: гордая и молодая,
я к ногам твоим пал с высоты.
Ныне – зрелая и золотая,
но для сердца – уже не такая,
не такие рождаешь мечты...
Горечь сладкая поздней любви,
грустно слышать мне тайный твой вздох:
косность разума в ласковом зове
размягчили – как токами крови! –
Ангел сердца и дьявольский Рок.
Миновала пора золотая,
вся – в страданиях, борьбе, нищете:
через тернии к звездам летая,
умирая и вновь воскресая,
счастья я не обрел в высоте.



XLV

Допотопный комод. И кровать.
Как скрипуча она и стара!
Постели на полу нам. И спать.
Время – полночь. Чего уж, пора.
Да, пора и подумать о том –
для чего и зачем мы с тобой
здесь встречаемся часто тайком
и уходим в любовь с головой?..

Помню след твой на белом снегу:
в трудный час предала и ушла.
Как я выжил? Сказать не смогу!
Смерть случайно ко мне не зашла.
Не хочу, но забыть не могу.
О, поймешь ли ты муку мою!
Я все вижу – твой след на снегу,
я все вижу усмешку твою...

На дворе – холодина и ночь,
и ворчит сквозь дремоту кобель.
Что ж, давай! Я согреться не прочь!
На полу постели мне постель.



XLVI

Ну, что ж! Пока еще не поздно
придумаем мы что-нибудь:
в тиши полуночной и звездной
другую страсть лелеет грудь.

Как прежде, тихий, одинокий,
я шлю молитвенный привет
той хрупкой женщине: высокий
в очах ее струится свет!..

Я – не Христос, но знал Иуду,
случайно не пошел ко дну.
Уйди, и я тебя забуду
и, может, даже не вздохну.



XLVII

Тобою музыка забыта?
А значит, музыка – не та...

Пусть жизнь моя тобой разбита,
но живы грезы и мечта.
А эта музыка такая –
ее и атом не убьет,
пока душа моя живая
страдает, думает, поет.
Тобою музыка забыта,
а я «забытую» люблю:
прошедшее, как сон, разбито,
но я его благословлю.
В плену мечтаний и желаний,
в тщете и суете сует
живет в очах у горной лани
таинственный и звездный свет,
и дверь вселенной мне открыта,
даруя грезы и цветы...

Не музыка тобой забыта,
а музыкой забыта ты.



XLVIII

Как будто бы льет мне божественный свет
твое – показалось! – окно.
Быть может, ты любишь, быть может, и нет,
но знать мне о том не дано.

Вдруг чиркнула спичкой по небу звезда,
мгновенная – как биоток:
хоть в сердце желанья толпятся всегда,
а высказать их я не смог...

Но звезды иные – вливаясь! – в крови
мой дух воспаряли, как бог,
качая на крыльях желанья любви
над пламенем вечных тревог!



XLIX

Встану утром пораньше. Дымятся пруды.
Искупаться бы. Не враждовать...
Ты с враждою пришел. Не питаю вражды.
Мне достойных врагов не сыскать.
В мире сказок, надежды и сонной мечты,
как рассветный покой у воды,
первозданно виденье земной красоты,
как открытие новой звезды.
Рано встал я сегодня. Хочу повздыхать
о кристальных, хрустальных слезах, —
тишиной оглушенный, чтоб мог отдыхать
в чьих-то карих с отливом глазах...

Астрономша моя, ты одна, что, любя,
среди тысяч могла отличать
и, над собственным вымыслом скромно скорбя,
звездным светом мой мир обличать...
Встал я утром пораньше.
В Долинске пруды
отражают цветенье в садах.
Ты с враждою пришел. Не питаю вражды:
я пришел искупаться в прудах.



L

Ужасные не знал ты муки:
не ревновал и не дрожал;
не испытал ты боль разлуки
и яд с бальзамом не мешал;
несвязности не зная в речи,
касаясь милых женских рук,
не испытал восторг при встрече
случайной после долгих мук,
когда, холодный к совершенствам,
любовью ты не полыхал
и долгий, сладкий стон блаженства
в своих объятьях не слышал!



LI

Жизнь проходит, но мы не поймем,
понимаем – когда не надо.
Страшно жить в зверинце людском,
человеком остаться – награда!
Сладких вымыслов тонкий туман,
радость веры, безверия горе.
Я ли – горный поток, а ты – море?
Ты ли – речка иль я – океан?..

Черноглазая, ангел, скажи,
почему раскидала нас вьюга?
Видно, мы не прошли рубежи,
когда надо бы верить друг другу.



ЛII

Девушка эта, как ангел, чиста,
и так же бесплодна она:
наши дела для нее — суета,
она, как богиня, одна.
Глупая? Умная? Ведает бог.
Стороною обходит меня:
выложил сердце — о, что же я мог? —
и к чувствам моим холодна.
Вирши слагал ей, вздыхал и робел,
не ведал покоя и сна:
пылко и гордо, и нежно я пел, —
и песни отвергла она...

Стоны мои долетали к ней,
она же спокойно спала:
кровная детка космических дней,
к слезам равнодушна была.
Миру нужна ли ее красота?
Живет, не любя никого.
В горькой усмешке кривятся уста,
когда вспоминаю ее.



LIII

Счастья не было, нет и не нужно –
Заваруха – Владычица лет! –
и мечтать о нем больно, но можно,
пусть обманчивый, все же – просвет.

Мы все около ходим и кружим,
я не стану твоим никогда:
в мутном зеркале жизненной лужи
разбегаются наши года.

Но одна, может, ты на свете
обласкаешь меня и поймешь:
нежным сердцем для сердца поэта,
утешительное пропоешь.

Пусть, как ветер, спонтанные встречи
мимолетны, как девичий сон,
но пьянят твои губы и плечи, –
и я призраком счастья смущен.



LIV

Как чумные, аллеи сада
обнимали когда-то нас...
Понимаем мы ныне сами –
не приходится раз на раз.

Мне в любовники – не по чину,
и плевал я на страсть твою!
Не подобает мужчине
разбивать чужую семью.

И чиста моя совесть, ей-богу,
выбирала, она, а не я:
асфальтированную дорогу
требовала от меня...

Но смотреть за когда-то любимой –
поучительная игра.
Проходя стороной или мимо:
«Нет и худа, скажу, без добра...»



LV

Ведь и я утешался любовью,
это было, мой друг, давно.
С сердцем пламенным, с жаркой кровью
мне расстаться уже суждено.

Много знал я страданий и боли,
мир оплакать бы их не смог:
и сейчас, как на рану – соли,
незаслуженный мной упрек.

Ты в любовь поиграй со мною,
ты так женственна и молода:
пахнут волосы ранней весною,
забывать заставляя года.

Мы, поэты, пасынки мира,
но – родные кровинки небес!
И напевы космической Лиры
никогда не поймет л и т б е з !

Ты – как все и как тысячи сотен:
В этом, милая, вся беда!
Берегись! Кто от чувства свободен
не вернет его впредь, никогда.



LVI

На сердце, как в лесу, темно, —
лампада разума угасла;
но ветер-гость поет в окно
романс жестокий, но прекрасный.

То нежно мне поет в окно,
то волком воет за оградой.
И сердце поняло давно,
что жить, как прежде, мне не надо.

Смотрю на зимний огород
и в одиночестве страдаю:
я, дав любовницам развод,
о дне грядущем не гадаю.

Уснули горы и поля,
и снег лежит — сухой, глубокий,
и стонет ветер февраля —
романс старинный и жестокий.



LVII

Ни оплаты, ни расплаты!
Что за сукины сыны?
От аванса до зарплаты –
словно до луны.

Умираю – денег нету.
Боже, что за глухари!
Вместо вечности поэту
деньги подари!

Он оплатит труд Твой с лихом:
на Олимп взойдя тайком,
назовет себя великим
божьем дурачком.

Как на свадьбе обезьяна
у подвыпивших ослов,
будет сытым, будет пьяным
он среди богов!..

На земле не то, что в небе,
горько плачешь и поешь:
месяц пашешь ради хлеба,
за три дня пропьешь...



LVIII

Под единой скорлупой...

А. Пушкин

Бродит месяц облаками
и на нас глядит с тобой:
мы – яйцо с двумя желтками
под единой скорлупой.

Не качай же головою,
не умеет смерть шутить:
разобьет яйцо рукою,
чтоб яичницу сшустрить.

Лучше нам с тобою рядом
быть всегда и не гадать;
и друг друга нежным взглядом
и любовью одарять!

В звездном небе самолеты
еле видимы с земли.
Я с тобою – как в полете
среди космической пыли.



LIX

Головокружительная крошка,
как мне жаль, что стар я и женат!
Жизнь моя – потерянная брошка,
горько плыть в неведомый закат.

Рядом с дубом тонкая березка,
это – я и ты...

Меж нами – стол,
как Поле Половецкое за Роской,
где за гранью – Сула и Оскол!



LX

Ах, ты, осень моя золотая,
голова — золотой бурелом.
И курлычет усталая стая
низким клином за дальним селом.
Так красиво летят над закатом!
Вслед им хочется волком завывать!
И я тоже не прочь бы куда-то
улететь, убежать и уплыть.
В горле ком, как в бутылочке пробка,
и звенит нутро от тоски:
эту грусть не залечит водка,
эту боль не зальют шмурдяки!

Полюбил, отлюбил я и снова
все на свете я начал любить:
ветром веет любовное слово —
как бы горло не застудить!
Много дней с золотыми плодами,
много лет, излучающих смех,
пронеслись над моими садами
и навеки ушли, как у всех.



LXI

Пусть же ветер злобно вое,
но в окно глядит луна.
Хорошо любить, не скрою,
целоваться допьяна.
Как же плохо в зимнем мире
одинокому: он – глуп!
Кто подаст ему кефиру?
Кто согреет постный суп?
Но учти, не будешь правым
перед бабой никогда.
Разлюбить уж лучше, право,
а иначе, друг, беда...

Разлюбил, оброс, не бреюсь!
Скройся в облака, луна!
Я зимой, друзья, не скрою,
опьяняюсь от вина;
а тобой, любовь, пьянею
в майский вечер у плетня:
с этой, с той или же с нею –
не касается меня!



LXII

Скажем, надежды химерны —
брось эту горечь тоски!
Все, кто бывает примерным, —
ангелы иль дураки.

Ангелами не слывали,
за дураками не шли,
ибо мечтой уплывали
в звезды от грешной Земли!

Если нас кто-то не любит,
нам не прибудет стыда:
полубожественность люди
не уважали всегда.

Будем, родная, как боги,
ну а покуда идем
и расчищаем дороги
кисточкою и пером!



LXIII

Мелькнул огонь чудесный
в очах твоих, мой друг,
как свет звезды небесной,
и канул в бездну вдруг...

Гляжу во двор, и что же?
Внизу аул лежит:
в неоновой рогоже
от холода дрожит...

Сошла звезда надежды,
восходит мук луна
без свадебной одежды,
грустна и холодна.



LXIV

Не до нежностей, не до усад,
не до вас мне, о «черные розы», —
отшумели былые грозы,
но не кончились слезы утрат.

Все, уйдя, превращается в тлен:
не писать мне о летних рассветах;
но как больно мне думать о детях
потаенных и явных измен.

Пасторальным рожком среди лугов
мне не петь о свиданье и встрече:
лег мне груз непосильный на плечи —
козни тайных и явных врагов.



LXV

На свадьбах или новосельях,
с улыбкой тайной на устах,
в часы всеобщего веселья
мечтал я о твоих глазах.

И в дни, когда в душе рыданья
копились, как дожди в горах,
как исцеленье от страданья,
мечтал я о твоих глазах.

Мне снилось: я лежу в могиле,
а ты – вся в черном, вся в слезах;
но даже там, в стране унылой,
мечтал я о твоих глазах.



LXVI

Ты знаешь театральное искусство:
притворно плачешь, слезы льешь, браня.
Мне жаль тебя – мои убила чувства
и нет тебе прощенья от меня.

Ты сытно ела, грелась на песочке;
а я жил впроголодь, почти что бос.
Мне жаль тебя: ты выросла в горшочке,
а я, как полевой бессмертник, рос.

Забудь меня – убей свои надежды,
идя из ниоткуда в никуда.
Мне жаль тебя: я буду жить, как прежде,
а ты уже не сможешь никогда.

Мне хорошо, мне сладко спится ночью,
как полю после снега под травой.
Мне жаль тебя, но, впрочем-то, не очень:
ты вовремя раскрылась предо мной.



LXVII

– Ты старше моей дочери, – сказал он.

Я ответил:

– Да... и умом, и опытом горького пути познания людей. Пройдут века и их потомки будут зреть мое имя сквозь дым нелепых легенд и лживых воспоминаний и на дела мои будут смотреть, как порою смотрят немощные старики на белые вершины, сверкающие под лучами закатного солнца, и с грустью думают о своей суетной молодости и о том, что было недосуг покорить одну из этих вершин, ибо сильные ноги их в ту пору были опутаны цепями приятных утех...

– Вы... сумасшедший! – перебил он меня.

– Возможно. С вашей обывательской...

– Вас надо изолировать!

– Что с вас взять...

– С кого, придурок?..

– С общества... Когда министр с трибуны Обкома заявляет: «Поэтов надо душить еще в утробе матери!» И в ответ награждается овацией... от таких, как вы. Что с вас взять.

Он молчал.

Но я видел в глубине его глаз:

сдирали кожу с живого поэта Насими;

пылал костер Инквизиции... горел Бруно;

алел от крови белый снег у Черной речки;

Александр Блок и Кязим Мечиев умирали от голода и тюрьмы. Тюрьмы, тюрьмы вперемешку с психушками.

– Да уж...

– Вы о чем? – спросил он.

– Да все о том же.

– Я подумаю.

– Я передумал.

– Да! Вас действительно следует душить в утробе матери! – злобно сказал он и сжал кулаки.

Я встал и ушел.

Вечером в полумраке комнаты перед моим взором встала она во всем блеске молодости и красоты. Но виденье ее меня уже не волновало, как прежде, ибо за ее спиной колыхалась зловещая тень огромного сухого дерева самого дремучего Средневековья.



LXVIII

Нежных креветок задумчивы сны.
Хищные рыбы не бродят вокруг.
Эхо далекой, прибрежной волны.
Музыка сладких глубинных разлук.
Снятся креветкам растений сады.
Тихие ямы их манят едой.
Шорохи темно-зеленой воды.
Солнечный зайчик на глади морской.

Но не приснится креветкам, что мы
пиво сосем и креветок едим:
не понимают их микроумы
макрожеланий великих людей.
Сердце желает от мира тайком
слиться навеки с прибрежной волной:
снится порой, что я тоже знаком
с нежной, прекрасной креветкой одной.



LXIX

Пусть влюбляются эти и те,
им – досуг, мне же некогда стало
отдаваться твоей суете:
есть иное в сердце усталом.
Захотелось ему в тишине
препарировать прошлое новью,
как природе по ранней весне –
заболевшие души любовью.

Препарирую, ну а потом
погуляю еще на задворках;
а пока – закрывай гастроном,
и закрой мои окна шторкой...
Под ногой ли твоей красоты
иль она у хапуги в охапке,
символ веры и звездной мечты –
о, моя прошлогодняя шапка!



LXX

Проходят страсти на рассвете
и вновь я слышу (в горле ком!):
от голода рыдают дети
под временным моим окном.

Одежду дал бы им и пищу,
я их пригрел бы у огня:
да не хозяин я в жилище,
мое же пусто у меня.

Хозяйка спит, она довольна:
любовник есть и есть свой дом.
Она не станет добровольно
с детьми делиться уголком...

Нахлебник я, а не любовник, —
мне больно до паденья сил,
как-будто я, убитый кровник,
лежу среди чужих могил.



LXXI

Когда-то женственной тайной
лучился свет в твоих глазах
и роза раной не случайно
алела на тугих власах;
упругие дрожали губы,
была неопытной рука;
но поцелуи были грубы
и было бешенство зрачка.

И думал я в те дни, что вечной
была любовь, но ты ушла:
для страсти прихоти сердечной
другого юношу нашла...
Прошли года – взвода и роты:
набралась опыта душа, –
от ложных клятв тебя воротит,
а откровенности смешат...

Я выпил и меня качало,
и песни пьяные я пел:
ведь я – твоих грехов начало
и завершение грешных дел.



LXXII

Как будто не было
поцелуев и слез между нами,
я скоро имя твое
позабуду в толпе:
на пожелтевшей листве
осыпавшихся воспоминаний
навек уснула
греза моя о тебе.



LXXIII

Глаза мои – города, ты об этом не знала,
руки мои – провода, ты об этом не знала.
Я долго ходил за тобой, искал тебя всюду
и камнем стал навсегда, ты об этом не знала.



LXXIV

Прекрасной ты была девчонкой, —
я помню, твой вставал рассвет,
когда я молод был и звонкий,
и было имя мое громким:
увы! Я — больше не поэт.

Я бедно жил и жил я тихо,
стихи до зрелости храня:
и испытал такое лихо,
что в бедности моей великой
меня покинула родня...

Я стал печатать. Что за страсти!
Повсюду — вой вокруг меня:
коллегам не пришел по масти, —
не те, видать, размеры пасти!
Меня покинули друзья...

Поэт вопрос дает. Ответа
я жду уже который год!
Нет ни ответа, ни привета, —
и больно думать мне при этом:
«Меня покинул мой народ...»

Не пел я под аплодисменты,
храня до будущего дня
удачи и эксперименты:
восприняв их как экскременты,
ты первой бросила меня...

Но есть еще иные дали,
где не покинут я пока:
там звезды надо мной летали
и песни вещие шептали,
рассеивая облака.



LXXV

Ты в покое, как ангел, прекрасна
и улыбка слепит, как свет...
Разозлилась – и стала ужасна,
отвратительной стала, как бред!

Хорошо, когда женщину бесит
непонятная сердцу мне власть
и мужское тщеславие месит,
словно тесто упругое, страсть!

Принимаю и темные силы,
что искуснее женских искусств,
но люблю только тех, что красивы
и в покое, и в ярости чувств!



LXXVI

Такая ли была вначале,
когда, забыв земную жизнь,
к моей заоблачной печали
ты птицей воспарялась ввысь?!

Ну что ж! Ты соткана из ветра
среди огней земных ночей
с земной душой, земною верой,
земными плясками очей!

Здесь, на земле, тебе уютно,
зачем тебе величья страх?
Меня ж томит ежеминутно
минутных жизней тлен и прах.

Прощай! Тебе желаю счастья!
Но коль случится дождь в пути,
во тьме житейского ненастья
меня ты вспомни и прости.



LXXVII

Ты – принцесса наследная грозных алан
и тюркидов бывшего востока:
и стройна, и изящна, и гибка, как лань,
до безумия ты черноока!

Полыхают во мне сладкой веры огни.
Брось монетку!.. Орел или решка?..
В болевые часы и в опальные дни
ты явилась ко мне, как насмешка!



LXXVIII

Когда тоскующе свистит
от Белой Речки долгий ветер
и одиночество сулит
мне дымный, пыльный, серый вечер,
люблю я думать, но сейчас
мечте сердечной отдан властно,
мечте единственной, но страстной:
любить сиянье твоих глаз!

Любить и думать о любимой,
забыть о бренности земной –
о доле высшей, но гонимой
молвой и грязной клеветой...
Я сплю, но гредишься мне ты:
и легок сон, и пробужденье
достойно сна – и сновиденье
и мысли сладки, как мечты!



LXXIX

Усталому сердцу отрадно
впервые мечтать о жилье,
о жизни, что сложится ладно,
о радостях в тихой семье...

О ты, мне дающая ласку,
предчувствие не оборви:
впервые поверил я сказке
о светлой взаимной любви!



LXXX

Сверкает белыми снегами
гора в предутренних лучах:
искрятся скалы – снег и камень!
Не дай мне слепоты, Аллах!

Шумит листва, щебечут птицы
и ручеек журчит в кустах,
как-будто музыка мне снится:
не дай мне глухоты, Аллах!

В плену людской молвы по брови,
со смехом желчным на губах,
у ног загубленной любви
не дай мне умереть, Аллах!



LXXXI

Ты озари улыбкой нежной
зыбучесть дней моих и лет,
чтоб, выжив в круговерти снежной,
узреть нам путеводный след
в тумане времени далеком,
где тьмы нас поджидают бед:
зато на лбу его высоком
горит земного счастья свет!
Иначе нам не будет жизни,
где виденье земных красот
с высот заоблачной отчизны
раскроет даль иных широт!



LXXXII

Светлы страдания и муки,
как зимний воздух и вода;
и боль — не боль; как свет разлуки,
мерцает южная звезда.

Как стих священный из Корана
тому, кто с верою живет,
мне нужен воздух Гюрхожана,
мне нужен малый мой народ!

Утешусь южною звездою,
блуждать не буду по стране:
мне нужен домик под скалою,
мне нужен свет в твоём окне!



LXXXIII

Верь, любимая, сердцу! Иначе
не прожить среди частых разлук:
сто невзгод – на одну лишь удачу,
равнодушие и зависть – вокруг.
Те, кто жаждет величья и славы,
не имея таланта и сил,
опорочат любовь и ославят.
Я пощады у них не просил!
Но устал я бессмысленно биться
с черносотенной этой ордой.
Я терпению хочу научиться
у замшелой скалы над рекой.
Я устал от всего, что не хочет
верить в светлые чувства двоих:
я хочу заглянуть в твои очи
и уснуть на коленях твоих.
Дай, любимая, смуглые руки
и доверься без клятвенных слов!
Все приму я: и беды, и муки!
Все приму, если это – любовь!



LXXXIV

Под солнцем любви на жестокой планете
я плачу, любимая, в сказки и сны,
но слушают люди бездумно, как дети,
не веря сказаньям глухой старины.
Я тоже отныне не верю планиде
бездушной земли в мировой пустоте.
Я – солнечный зайчик на скальном граните,
пустой светлячок в роковой темноте.
Но мне отречься от правды негоже,
хотя я, как прежде, блуждаю во мгле;
и все же, признаться, скажу Тебе, Боже,
не смог бы вторично прожить на Земле.
Любил я возвышенно и без печали,
а ныне я плакать от боли готов.
Какие глаза мне сияли, встречая?
Мне страшно среди моих бедственных снов...

В грядущем темно: хорошо или плохо
нам будет, не знаю, но буду любить.
Не чуждый ударам и ласкам Эпохи,
хочу эту жизнь я с тобою прожить!



LXXXV

Смотрят звезды с холодных небес,
вьюга снегом сугробы наносит
и, как ангел, а может, как бес,
белым пламенем в окна заносит...

В мой космический, атомный век
дай мне, Боже, восторженных слез
и туман галактических рек
влей мне в горло в трескучий мороз!

Дай прижаться к любимым губам,
выбрось сына за стены бастилий,
дай поверить пророческим снам
на болотах шипящих рептилий!

И молиться я буду Тебе
и, как благо, приму мученья,
предназначенные судьбе,
не как пытку, а приключенья.

Смотрят звезды с холодных небес,
твое имя поземкою носит
и, как ангел, а может, как бес,
белым пламенем в сердце заносит.



LXXXVI

Не говори, что «все плохие»,
другого встретив на пути:
быть может, нет и в нем стихии,
но, может, сердце есть в груди.

А я же, жизнь влача с другою,
у смерти вспомню на краю
те дни, что были мы с тобою
и радость краткую мою.

И, может, словно сновиденье,
мелькнет твой образ молодой,
как лучших лет моих виденье,
души падучею звездой.

И я умру с улыбкой светлой,
как будто на твоих руках,
в часы молитвы предрассветной
мечтой летая в облаках.



LXXXVII

Есть времена весны, похожие на осень,
как-будто ждешь не лета ты, а ждешь зимы:
холодная роса, туман и неба проседь,
и бурый лес, и рыжеватые холмы.

Так и в любви порой бывает время счастья
наплыва страсти буйной хладною струей,
как-будто не огонь в груди, а бурь ненастье
тревожит сердце океанскою волной.

В душе светло. Сиянье глаз ее лазурных
как будто обещает радость и любовь;
но почему я жду ее разборок бурных,
что и в пылу страстей, мне мнится, стынет кровь?



LXXXVIII

Наперсница страстей бесплодных,
быть может, знаешь ты одна:
среди чужих людей холодных
моя душа осуждена.

Я – пасынок своей отчизны
и жертва грязной клеветы.
Как заблудившемуся в жизни,
одно мне утешенье – ты.

Так пусть же пошлые невежды
поэту делают укор!..

Без цели в жизни, без надежды
о чем поет их пьяный хор?

Кто угадает в этой своре
моих высоких дум и грез?..

Никто не знает мое горе
и не поймет причину слез.



LXXXIX

Стоит вечерняя прохлада,
бесшумно стелется река,
не щелкнет соловей из сада,
но золотятся облака
и, золотясь, заре кивает
макушкой тополь молодой.
Заря лучами умывает
скалу и лес, и водопой.

Мой поезд горечи разбился:
упал с откоса и сгорел.
Не потому ль, что я влюбился
и сердце снова отогрел?..
Простая женщина умает
меня туманом и росой:
и голову в груди зароет,
накроет черною косой...

Но буду ли собой доволен
и этой тихою судьбой?
Привык уже к иной я доле,
где с волей борется неволя
молвой и дикой клеветой!..
Все – в прошлом: и мечты, и грезы,
цветы, поэзия, любовь!
Остались мне лишь сны и слезы,
дожди и бури, пот и кровь!



LC

Всегда хоронят здесь кого-то,
творят молитву и скорбят,
и грустное толкуют что-то,
и землю мерзлую долбят.
Всегда, покорны шариату,
как предки их с былых времен,
они спешат, как братья брату,
устроить чей-то вечный сон...

Вот так и я мои надежды
на кладбище души несу:
на прах надежды мои вежды
роняют жгучую слезу.
Объятый я мечтой загробной,
могильщик собственных надежд,
куда бреду дорогой скорбной
земных злодеев и невежд?
Не очень-то я в счастье верил:
оно, как и твоя любовь,
ушло, как призрак, в щелку двери
и вряд ли возвратится вновь.



LCI

Весна и Май прошли, как сон,
и отошли мечты и грезы;
и, словно разум оглушен,
в душе бесчинствуют морозы.
Без милой сердце не поет,
не расправляют крылья сказки.
Так яблоня не расцветет
без солнца, света и без ласки.

К Басхану выйду: там сосна
стоит над снегом под скалою, –
придет иль не придет весна,
она – зелена и зимою.
И я хотел бы быть сосной
и зимним дням не покориться,
но сном до майских дней забыться,
укрывшись снежной пеленой.



ЛСП

Один, как перст, по улицам блуждаю,
не знаю я – куда, зачем иду:
случайную ли радость ожидаю –
случайной встречи ли с тобой я жду?

Как-будто вымерли друзья на свете.
Еще не поздний, но пустынный час.
Случайных лиц случайные приветы,
пытливый взор случайных женских глаз.

На зданиях – афиши и плакаты,
неоновый неотразим разбег.
Откуда-то – случайные солдаты:
размерно топчут строем мокрый снег.

Снежком в деревья целюсь и кидаю,
то убыстряю, то замедлю шаг:
случайную я встречу ожидаю,
но случаю не верю я никак.



LCIII

Единый раз тебя обнять,
от радости хмельной и шалый;
любить до бешенства, и спать,
как пахарь потный и усталый;
и сквозь дремоту ощутить
твое дыханье на рассвете
и я готов творить и жить,
судьбу благословив на свете!

Увы! В моей душе – лишь грусть
и нет в ней сердцу состраданья:
оно читает наизусть
поэму горького рыданья.
Зачем творить? Зачем мне жить?
Зачем и слава, и признание?
Кому твои плоды дарить,
твои, воздушное призванье?..

И ветер грусти грудь сквозит,
и кажется мне жизнь ничтожной.
Так «МАЗ» тяжелый, но порожний
в грязи буксует и скользит.



LCIV

Ты и я, мы – как райские птицы,
но забывшие песни любви.
Невозможное, милая, снится,
неземное струится в крови!

Неземное! Такое, что с горла
звездным плачем наш мир озарит
и кричит – аж дыхание сперло! –
с неба счастья метеорит!

Ах, как жаль! Вне твоих тяготений
есть простор среди звездной пыли
песнопеньям моих размышлений
в ста парсеках от грешной Земли!



LCV

Твоя улыбка и молчанье,
и взгляд – как бы исподтишка
в душе – и музыки звучанье,
и пламя алого цветка!
О, чтоб ни делал, где бы ни был,
в душе твой образ – как печать:
вот так Полярная на небе
осуждена Звезда сиять!

Хотел, словам твоим послушный,
забыть тебя, но не могу:
блуждаю сумрачный и скушный
и «Л» пишу я на снегу.
И, повторяя твое имя,
я спать ложусь и с ним встаю:
я всеми чувствами моими
тебя, одну тебя, люблю!



LCVI

А журавли летят во мгле.
С какой земли? К какой земле?

Летят они. Куда летят?..
Внизу огни везде горят.

Им вслед мечу мою печаль:
и я хочу за ними вдаль!

Бескрылость мук... А журавли
летят на юг с родной земли.

И я во сне туда лечу
и в тишине с небес кричу.

Кричу о том, что буду вновь
в краю родном, где есть любовь.





I

Глаза его уже залиты
(Колышет люстра сквозь туман!),
но в кулаке своем гранитном
спокойно держит он стакан.
В дыму, чаду своем похмельном
себя крестьянином он зрит
в отцовском домике удельном
и забывает, что бандит...
Давай, ворюга, выпьем водки
за упокой разбойных дел!
Меня бы ты, как хвост селедки,
сожрал бы, если б захотел...

Гулаг, гулаг! В его загоне
ты был своим, я был чужак:
я – диссидент, ты – вор в законе,
и все же не был я дурак.
Ты это понимаешь ныне,
за это любишь ты меня;
но сердце в горестной пустыне
не обретет того огня,
который вел меня по жизни
во имя лучших дел и дней:
моим врагом была отчизна
тобой ограбленных людей.



II

Вот я – свободным, вольным массагетом! –
сизу в кругу воинственных родов:
и дышит мир под белым лунным светом;
и конь, и волкодав, и тень шатров...

Вот сын – свободным, вольным массагетом! –
поет на тризне песню обо мне:
и плачет вся орда при лунном свете,
сжигая труп на траурном огне.



III. БУНТ В ДИСПАНСЕРЕ

Андрею Вознесенскому

Врач-укротитель
и санитары
потеряли дар своих слов:
бушуют
под звон гитары
фельдмаршалы без штанов!
Тени спуют.
Бунт химерный.
Бомба взорвалась
иль динамит?
Даже шизик,
такой примерный,
беспримерно
врачу хамит!..
Клубы дыма,
словно туманы,
выползают из окон
на седьмом этаже.
Прыгай, Кащей!
Прыгайте, паны,
в немыслимом вираже!
Паны хохочут!
Что им пожары?
Кальсоны дымят
на заду...
Кормили и били вас даром –
на свою же беду!
Фонарь на лбу
Цезаря психов,
у Гомера глаз ослеп.

Санитары орут
и тащат пихом,
и в шкаф их суют, как в склеп.
Вдруг выстрел...
Психи идут по койкам
и,
как будто никто ни при чем,
спать ложатся спокойно
кто в чем.

Буря глохнет,
шквал затихает.
Выстрел снотворно горчит.
На седьмом
пожар затухает,
пожарник матерится,
кричит.
Один лишь Верлен
не дошел до койки.
Уложим его,
братва!
Спите,
великие паны,
спокойно,
паны временного торжества!..

Порою гляжу на толпы,
казалось бы, умных людей:
снут
и галдят без толку
пленниками
страстей.
Друг друга
дубасят по морде,
мелькают свинчатки,
ножи!
О безголовые орды!

Шизические
этажи!..

Паны,
великие паны,
за волю на «волю»
вы сном полегли:
собирать хотели тюльпаны,
а решетки нашли!
Утешьтесь,
великие паны!
Свободная ваша братва
для вас
соберет тюльпаны –
огромные,
как голова!..
И сторож вам скажет,
бунт прощая,
для вас он умен весьма:
«У вас –
тюрьма небольшая,
у нас же –
большая тюрьма...»



IV

Он – гений
 валюты сточной:
нахально,
 как хахаль в шалманы,
лезет
 с микроскопической точностью
в государственные карманы.
Носы-картошки –
 по магазинам,
а он по банкам,
 почти открыто!
Те – деньги лопатами,
 а он –
 корзинами
из совхозных
 парников
 закрытых...

В пору военную
 и в годы разрухи
подлость становится зримей,
как молодящаяся старуха
перед зеркалом –
 в гриме.
Время, что ли, предморовое?
Эй, не радуйся,
 Сатана!

Кончится
 Первая мировая
экономическая война!..
На базаре картошка –
 как мясо,

а мясо —

по цене золотое в ларьке:
место одно на месте мягком
заросло паутиной в тоске
по скоромному,
если выразиться по-скромному.
Мне,

трудяге, мало урона:
мои крохи —
всегда, при мне;
но страшно,
что нет закона
противо-не-законной
родне!..

Быть может,
для кодлы — подло,
но будет мой ныне завет:
собирать
против кодлы кодлу
и носы-картошки
варить на обед!



V

Понимаю, когда за корону –
все-таки власть;
понимаю, когда за корову
красивенькую –

это страсть;
понимаю –
за маму родную,
как за родину,
надо вставать!

Но за малину земную
стоит ли нам страдать?..

Что мудрее –
рассвет ли,
закат ли?

Может, мальчик
умней мудреца?

То, что иные
всю жизнь искали,
лежит на ладони мальчика.

Герой ты
или же – трус,
гнилыми кишками
бездомной собаки

клянусь,
жить без цели –
не только драки,
но и копейки не стоит, клянусь!

Ты засмаливаешь погоду,
ты засмаливаешь мираж,
ты засмаливаешь свободу,
но пустует

твой багаж...

Атанда, шмарак!

Мы не поможем.

Миллионы – как ты,

как он.

Завтра узнаем

по вспухшей роже

насколько был трезв

его сон.

Герой – ты

или же – трус,

в атаку пойдем,

узнаем!

Ну а покуда

тебя я не знаю

и понимать не берусь!



VI

Душу высасывает, как подстанция шахты
газы из тупиков.

Было когда-то в детстве, бывало и позже
проснувшись, я улыбался с утра...

Сердце давно зарастает травой, лесами,
в нем торфом страданий дымится пасмурных дней
весна;

в концлагерях его чистые мысли томятся;
дум грозовые тучи вспороты молниями
наветов друзей и клеветой врагов,
и ливень кровавый пьет
пожухлая роза полузадушенных грез,
в кущах которых не стонут в слепом угаре
былых вдохновений полупьяные соловьи, —
зато ночами сны прилетают
обрывистые и крутые, как скалы и кручи,
и дневная боль заглушается
более страшную болью ночных сновидений.

Хочется быть беззаботным ребенком
на солнечном берегу теплого, южного моря
и захлебнуться от светлого смеха
и избытка сил молодых!..

Может, вот это томит меня вечно?
Может, вот это — моя хандра?
Блуждая звездной дорожкой Млечной,
я улыбнулся б, проснувшись, с утра.



VII

Град и благо земного тепла
принимая попеременно,
страж столетий, стоит бессменно
над мятежным Басханом скала.

Дул ли ветер, кружился ли снег
или свет на покосах лучился, –
здесь терпению скал я учился,
вдохновлялся мятежностью рек!..

И теперь я, как эта скала,
среди всякого сброда – от бога:
не собьют меня с верной дороги
ни хвала, ни людская хула!

И, как эта река, я торю
по камням равнодушия русло...
Пусть надежда мерцает мне тускло, –
и за тусклую благодарю!



VIII

О, черной ночи страшный волчий вой,
ты знать даешь, что будешь беспощаден!
Над тропкой узкой, под лесной листвою
стоишь, могуч и сер, и кровожаден!

Бронхитный ветер морду обдувал
и лунный свет в кустах мерцал продажно:
дуpletный грохот шерсть его вздымал,
но стоя щурилась за ним отважно.

От волчьих ям израненных ведя,
он не искал и не просил пощады...
Ты, умный зверь, – несчастное дитя,
к чему тебе людских путей шарady!

Я добрым слыл. Людей любил. Я был
нежней ягненка в час его рожденья.
А ныне что? Я ненависть взлюбил!
Не ожидал такого возрожденья!..

О вы, из клеток лающие псы,
хранящие идейных казнокрадов,
цыплячьей кровью красите носы,
когда они приветствуют парady!

Давно слышал я истину одну,
она гласит: собачий вальс наяживай,
цепь натянув в дрожащую струну,
облаивай, облаивай, облаивай!..

Не потому хочу я волком стать,
чтоб насыщать желудок мой телятиной:
хочу я глотки псов хозяйских рвать,
чтоб усладить утробу собачатиной!

IX

Как крестьянин бредущий волоком,
надрывая грудь,
груз духовный тащу я волоком,
нескончаем мой путь.
И до самого часа смертного
(Не зови, не гляди!)
не услышу я зова приветного
впереди... впереди,
где лишь – звезды парящие,
и где нет никого, хоть убей!
Где вы, властность и власть творящие?
Сам я – царь и плебей!
Не с того ли мое одиночество –
не талант и не дар:
простодушный удар человечества,
не смертельный удар...

Вспоминая прошедшие оргии,
где томился в плену,
скоро, скоро (и это бесспорно!)
где-нибудь у канавы усну;
и тогда никакие стремления
не затронут мне грудь,
но в потоке людского мышления
мой продолжится путь!



Х

Мы всей системою огромной
в необозримости парсек
рванулись вдаль, как волк бездомный,
бросая в бездну стон и смех;
и черных дыр раскрылись пасти
Сверхновыми в бездонной мгле;
а мы, наемники напастей,
друг друга режем на Земле...
О Родина, готовь котомки!
Настало время, в добрый час!
Поклон от будущих потомков
передает нам звездный глас.
К чему самоубийства бури?
Уйми, Земля, ажиотаж!
Пусть же сам собою будет
в свой срок космический вояж!

В секунду 20 километров
иль 300 000 ты летишь –
лети, Земля, куда ты метишь:
когда-нибудь да прилетишь!
Дуй, Солнце, неземным масштабом,
раз истины конечной нет!
Вселенная – лишь Звездный табор,
где мрак и свет, как... мрак и свет.



ХІ

Сквозь ветер, ураган и вьюгу
с надеждой в сердце, наугад
слепой найдет свою лачугу,
где ждут его отец и мать;
и ты, изведавший разлуки,
навек потерявший слух,
всегда услышишь голос муки —
с надеждой в сердце ты не глух;
но тот, кто потерял надежды,
теряет в мире все и всех:
и даже на устах невежды
он вызывает горький смех;
И чужды для него все звуки,
и нету для него красот;
он не услышит голос муки
и слез страданья не поймет.

Спасибо, господи, надежда
в душе моей еще жива:
пока дышу, она, как прежде,
неистребима, как трава.



ХII

Предела нет — ни мысли человеческой
и ни звериным склонностям в душе:
и длится путь познания бесконечно
во времени, как в оттиске клише,
и яд змеи, у нас в груди согретой,
в крови фатальным пламенем горит,
когда я думаю о вас, отпетых,
а ведь могли бы доброе творить!
Мечтали вы и думали глубоко,
когда ваш разум бодрствовал, любил:
тогда его всевидящее око
ядро вселенной мыслями дробил.
Но чаще разум спит или поносный
несет в полудремоте пьяный бред,
и душу беззащитную уносит
туда, где зло чертит кровавый след.

Как бесконечен тяжкий путь познания
под воем ярости людских страстей!
Невольно льются слезы сострадания
в руины нескончаемых скорбей, —
и, вперив очи в звездность этой вечной
Вселенной, вопрошаю: «О Аллах,
куда же мы дорогой бесконечной
идем в наручниках и кандалах?!»



ХІІІ

Я понимаю рациональность
и д е й, что разум наш творит,
где резвой мысли гениальность
кометой вольной не летит,
руководя их силой грозной,
к иным, далеким рубежам,
где путь росой искрится звездной
и нет числа иным мирам!..

Вот почему порой властитель
ведет народ свой не туда,
куда хотел бы, — мир свидетель! —
влекомый жаждою труда:
его неволит дух народа
и знамя праведной борьбы.
За то такая несвобода —
бессмертие его судьбы!



XIV

Угрюмая ночь. И пустырь.
И жизнь — как забытая сказка:
над нею, как мыльный пузырь,
сияет большое «ф и а с к о».

Мне спать под обманчивый свет
приходится здесь,

как скотине,

на полюсе жизненных лет
и стыну,

как мамонт, я стыну.

Фиаско — тебе,

исчезающий стыд

и болям твоим эпохальным!

Фиаско — пути,

что закрыт

всем ценностям нашим печальным,
где в лопании пузырей
любвей,

мечтаний,

надежды

я — символ несчастных зверей
в звериной душонке невежды.

Пусть эта планета летит
своею орбитой стабильно!

Я здесь — на войне

иль убит

в катастрофе автомобильной!

Я здесь ежедневно казним,
болезненно дни уплывают:
я кем-то гоним и раним,

и раны те
не заживают!

«Ф и а с к о!»
висит надо мной:
здесь — дома,
и там — по дороге
предсмертной его белизной
слепят
и стращают тревоги.

Росою созвездий мне грудь
наполнит пустынная дача...
Ты

слово «фиаско» забудь,
но вспомни другое —
«удача».



XV

Век машин, скоростей. Неплохо!
Реактивный гул из облаков!..
Одинокие дети Эпохи
не волнуют людей и богов.

Ну и что же? Быть может, так надо?..
Белый пик горит в синеве,
как единственная награда
разболевшей моей голове!

Одинокий дитя забвенья,
чудом спасшийся и живой,
как мне горько, что жизни звенья
не наварены были мной!..

И задуматься бойся, товарищ,
когда по асфальту идешь:
о машину свой лоб отоваришь
и до пенсии не добредешь.



XVI

Среди несметных «черных дыр» Вселенной
чернее всех моей души дыра:
и в плен берет, сама являясь пленной,
не ведая, где ложь, а где мура.

Меж пахарей, певцов и женских «охов»
я больше крал небесного огня!
Так почему же черный ветер вздохов
гудит в груди под сердцем у меня?

Глотая жгучий яд хвалы и скотства,
о Черная дыра моей души,
ты — засекреченное производство:
никто не знает — что в твоей глуши!..

О астроном, что бездна той Вселенной?!
Ты «черную дыру», как я, ищи:
она таится, — вечна и нетленна! —
на дне твоей же собственной души!



XVII

На лоне вод, под ряской и пустынным,
под кваканье заросшего пруда
в вечерний час печально и остыло
сверкнет, как нож, падучая звезда.

Не я над временем моим властитель,
оно владеет мной, как в старину:
у времени есть свой ограничитель –
настал мой час, чтоб покориться сну.

Но почему не становлюсь смиренней?
Но почему все так же чуток слух?
На что мне необъятный мир вселенной,
когда мой мир земной – жесток, и глух?

Как знак небес душе моей остылой,
еще одна падучая звезда,
как символ краткой жизни над могилой,
сверкнула, в темном зеркале пруда.

Ужель ничто меня не успокоит?
Ужель огонь любви не опалит?
Ужель никто страстей моих не стоит?
Ужель душа страдать мне не велит?



XVIII

Опавшую листву земных забвений
уносит в мрак людских утрат вода
в туманные ущелья сновидений
и дождь страданий льется, как всегда...

Далекий свет космической машины
падучею звездой скользит вдаль:
на миг осеребрит снега вершины
и вновь умчится – куда-то от Земли.

Но ощутимей станут увяданья
скорбящих трав и гениальных душ:
ничтожными покажутся страданья
живых существ на лонах вод и суш.

Никто еще не видел Мирозданье
в его необозримой наготе;
но я в мечтах, ничтожное созданье,
витаю духом в этой высоте!

Но плач людей меня вертает часто
к страданиям Земли, к ее слезам,
где призрачное счастье – как несчастье,
а истина – для сердца не бальзам.



XIX

Что-то жизнь потеряла реальность,
безмятежными стали и сны.
Это что? Может быть, гениальность?
Иль усталость тридцать пятой весны?
Я запутался в фактах и датах,
позабыл свое имя и дни.
За решеткой земных казематов
жабу с коброю что ль породнил?
Гениальность? Увы, это – сказки
для души, мой единственный грех.
Где мои «за красивые глазки»?
Где ты, мой торжествующий смех?
Все прошло, ничего не осталось,
только память хранит мой сон,
где когда-то сады расцветали,
где когда-то и я был влюблен...

Да, усталость, а не гениальность.
Горько думать, пропала вся жизнь:
не мечты воплотились в реальность,
а все то, в чем мы лживо клялись.
Мы с тобой – эволюции звенья,
серединные звенья в цепи...
дай мне, Боже, еще вдохновенья,
одинокому в этой степи!



XX

Лжеистины дурную славу
мечом ковали, острием клинков.
Обидно за былое и державу:
могильники и письма веков...

Какая подлая порода.
в XX веке землю обрела:
свободу вырвала народов,
на волю гнусную их обрекла?
Ты волен думать и работать
в плену пустых идей, в цепях забот!
Ты стал бы, может, Мариоттом,
но ради хлеба – цель твоих работ.
Паши и сей! Корми ораву
своих детей, соседей и держав,
талант и будущую славу
до пенсионных лет в груди зажав...

Храни вас бог, простые люди,
несите груз страдания и мук:
есть караван, а вы – верблюды,
пески, пески – и миражи вокруг!



XXI

В наилучшие ваши века
разве видел и слышал я плохо?
Здравствуй, пес мой, овчарка эпохи!
Что же спеси отвисли бока?..

В наихудшее время разрух
наилучшее в мире прозрение –
воспевать правоту на презренье
к вам, что жадно снуете вокруг!



XXII

Горький пропойца и не безоружен,
шастал — наполнить бы только нутро.
Стыдно подумать: был все же я нужен
людям, искавшим любовь и добро...

Бритый, одетый по моде, утюжен,
стал я, как ангел добра и тепла.
Горько мне думать: таким я и нужен
практике горя и ханжеству зла...

В жизни частенько две эти дороги
встать помогают, а также — и пасть,
словно — суровая власть недотроги
и... извращенная женская страсть!



XXIII

Сердце устало и стало шалить,
горькие дались деньки:
снятся ночами кошмары земли –
жарюсь я, как шашлыки.

Звезды большие над миром зажглись,
будут гореть до зари!
Боже, ты дал мне тяжелую жизнь, –
легкую смерть подари!..



XXIV

И с отвращением читая жизнь мою...

А. С. Пушкин

Когда меня тоска гнетет
и мучает опустошенность,
и в разум яд страданий льет
змеиным жалом отрешенность,
и совесть, мой покой круша,
как молния, в глаза мне блещет,
и перед богом вся душа,
как грешница в аду, трепещет, —
тогда, печалясь и скорбя,
я повесть прошлого листаю,
но с отвращением читаю
страницы этой книги я.



XXV

Ты, судьба моя, судьбина,
что готовишь для меня?
Очень многих я обидел:
плуг давал, давал коня.

В этом мире человечьем
презирал я тлен в гробу,
но испытывал я вечно
чью-то заячью судьбу.

Не ругаю все на свете
и добра я не таю,
хоть и знаю, кто-то где-то
грянет пулей в грудь мою.

Русу-голову златую
успокою я навек,
на траву упав густую
или же на хрупкий снег.

Будет чуб мой трогать ветер,
но — ничья, ничья слеза:
и, как звезды на рассвете,
отойдут мои глаза.



XXVI

Давно чемодан уложен,
но слышать хотелось: вернись!..
Никто никому не должен,
скатертью, друг! Катись!

Карьера – такая сложность,
друзей и родных беги:
никто никому не должен,
авторитет береги!..

Река, что течет под кручей,
разве должна ты, резвясь,
шептать о звездах и тучах,
серебряной лентой змеясь?..

Эльбрус! Зимой и летом
разве ты должен один
дарить нам великолепье
сверкающих двух вершин?..

Никто никому не должен.
Ни мне. Ни тебе. Ни вам.
Так очень бывает удобно
плавать по вдовьим слезам!



XXVII

Философы штыки теорий точат;
а в жизни плачет раб, смеется царь;
и даже звезды в небе кровоточат...
Нет, не бунтарь, я – больше, чем бунтарь!

В бою неправом падают солдаты,
на скалах – кровь, в аулах – дым и гарь!
Багровые рассветы и закаты!..
Нет, не бунтарь, я – больше, чем бунтарь!

Я испытал все адские страдания
и стал Земли я зрение и радар;
я был распят – познал беду изгнания:
нет, не бунтарь, я – больше, чем бунтарь!

И ныне за спиной, как божье знамя,
зеленый плащ вздувается, как встарь!
Вот почему я говорю упрямо:
– Нет, не бунтарь, я – больше, чем бунтарь!..



XXVIII

Коротка моя жизнь работяги и человека,
но жизнь поэта-шахтера, что бурлила во мне,
не дано описать никому до тридцатого века,
ибо корни пустила она на рабочей спине.

Я — и есть поэт от станка и забоя, кто руки
в мазуте и ссадинах к звездам посмел протянуть.
Я фильтрован сквозь фильтры недоверия и муки,
чтоб доверье народа своего не обмануть!



XXIX

Кочую, но это, скажу, – не беда.
В машине, закутан в кашне,
подташнивает на раскачках, когда
пупок прилипает к спине...

Вот змейкой дорога летит между скал,
здесь – у огородных межей, –
я семь сотрясений узнал и видал
семнадцать кровавых ножей...

Под лунным сиянием скал золотых,
бывало, я кровью блевал,
но, богом хранимый, в годах молодых
любому я сдачи давал!



XXX

Я хочу помолиться,
вот мои божества:
помолюсь тебе, птица!
Ты – проста, как трава.
Помолюсь тебе, камень!
Ты дождями омыт
и моими руками
не был сроду забыт!..

Я хочу до могилы
вольной птицею жить
и, как сказано было,
честь по чести служить,
как щербатый сей камень,
что хранит молибден
для людей, что руками,
молотками – трудами
может встретить свой день.

Только так вот молиться!
Только так вот служить!
Пусть иное не снится,
по-иному не жить!



XXXI

Право Рима – в силе, это – подло,
как Чингиз гулял вчера!..
На вершине мира – блеск и пошлость,
у подножья – мишура.

Право римлян – правда, на скрижалях:
хлеб и серп, трава – в росе...
На равнине мира – все в печали,
а на дне – пируют все.



XXXII

Властители земли и пищи,
и вас унижит ваш закон:
вы станете, как тот же нищий,
что вами ныне оскорблен;
ему так мало надо в жизни —
еда, одежда, теплый кров,
да чтобы на плачевной тризне
сказали пару добрых слов...

А мне, шахтеру и поэту,
рожденному на свет, как свет,
подайте лишь осколок света,
а в остальном скажите: нет!
И я скажу:
— Вы — жизни соль!
Из благ своих в земной юдоли
вы дали худшую мне долю,
но лучшую земную боль!..

К чему упрек иль гордый ропот,
о ветреной судьбы сыны?..
Живу как рокот, шепот, топот,
как снег зимы и дождь весны.



XXXIII

1

Я пьяный был. И мух ловил.
На кочку прыгнула арба
и я упал...

И нос разбил.
Благодарю тебя, судьба!
Коней Извозчик понукнул,
и я услышал в пыльной мгле,
как он злорадно хохотнул:
– Устойчивее – по земле!..
Я встал и нос отер травой,
и очень долго шел,

пока
не стукнулся головой
в глухие двери кабака...

2

И увидал в лихой гульбе
среди шумной, пьяной голытьбы
вас, ускакавших на арбе,
когда упал я с той арбы!..
Я сел в углу и начал пить,
пьянел, но пил и думал так:
как глупо было мух ловить
и пить в дорогу натощак...

3

И вот стакан мне поднесли:
я поднял красное вино

за пешеходов всей земли,
как это принято давно.
— Эй, вы! — сказал я, — кунаки!..
И встал, граненого креня;
в карманах спрятав кулаки,
друзья косились на меня.
Я разодрал сухой чебак,
но тост мой не переменил:
— Вы — мудрецы, а я — дурак,
а потому дурак мне мил!
Вы были мне друзья, сейчас
вы — собутыльники мои.
Я — пьян... и покидаю вас,
не объясняясь вам в любви.
Но этот мой стакан я пью
за дураков, что шли пешком!
А за разбитый нос — адью! —
мы рассчитаемся потом!.. —
И вышел я. Стоял закат.
Сгнивала во дворе арба.
Друзей пришлось мне увидеть,
благодарю тебя, судьба!
Я краткий путь им указал
и, старую котомку взяв,
поднял кепчонку и сказал:
— Пешочком я пойду, друзья;
а вы купите «вездеход»,
как отрезвеете чуть-чуть:
и, может быть, мой пеший ход
догоните когда-нибудь!



XXXIV

Охраняет покой твоей жизни
оборонно-армейская жуть,
но сильнее, чем войско, отчизна,
я нужнее тебе чуть-чуть!

Знаю, служат тебе и – неплохо:
проторяют к прогрессу твой путь!
Но твои катаклизмы, Эпоха,
понимаю я больше чуть-чуть!

Я из жизни навек улечусь,
образ милой уча наизусть:
пусть не больше я вашего мучусь,
но я больше люблю чуть-чуть!

Я такой же, как все, даже – хуже,
но острее болит моя грудь;
мои плечи – слабее и уже,
но во мне существует «чуть-чуть».

Мое сердце не судит, а любит;
в нем – мечта, понимание и грусть.
Потому меня, может быть, люди
будут помнить в грядущем чуть-чуть!



XXXV

Рос он смелым и сильным
и рыскал со стаей в лесах:
и в холодные зимы,
подражая братьям своим,
среди скал на луну подвывал;
только вой походил на рычанье.
Братья — серые волки —
наостряли вдруг уши,
обнажали клыки,
шерсть на загривках, словно от ветра,
волновалась, как серый камыш,
и бросались всей стаей они
подальше, в леса...
Он за ними трусил с большой неохотой,
ибо ленивым он был;
но — рос, подрастал,
становился сильнее
и один он съедал то, что трое съедали,
но зато, когда братья его
ягнят волочили с трудом,
он быка иль бизона
кидал на хребет и тащил...
Но все чаще и чаще
стая стала его избегать:
рычала, а порой ухитрялась
кусать — даже мама-волчица
опасалась его.
Он остался один...

Однажды в летнюю ночь
из зарослей над яром,
как луна из облаков,
вышла, рыжая кошка:

подошла, и, обнюхав,
постояла и прыгнула прочь, —
видно, псиной он пах,
волчьим потом несло от него...

Так и жил он один,
Покуда однажды
в лесу у водопоя
он не прилег отдохнуть:
он случайно увидел в воде
кота
с рыжей гривой и мощными лапами,
и понял,
что он
из того же племени,
что и рыжая кошка, с глазами
из огненного янтаря,
чьи зрачки так были похожи
на блестящие и черные миндали.
И еще он понял,
что случайно
с волками он вырос
и не случайно
бросили волки его...

Он живет в одинокой пещере
на опушке Великого леса
и под Белой Скалой
каждый день ожидает
грациозную золотистую зверь,
ибо чует по нюху,
что она притаилась и ждет,
когда рыжая шкура его
псиной не будет смердеть:
она выйдет тогда,
из темной чащи,
подойдет и положит

прекрасную голову
на мощные лапы его,
пристально глянет в глаза
и уведет его в лежбище —
к таким же, как он и она.



XXXVI

Дружок мой, некий Ибрашка,
меня, необразованного, поднял на смех:
— Без бумажки ты — букашка,
а с бумажкой — человек...

В наше время — все с бумажкой:
с бумажкой — гном, с бумажкой — грум.
Кто — за деньги, кто — за барашки,
и очень редко кто — за ум.

Мечтал ты стать инженером,
учился — аж пыль столбом!
Но на ближайшее нашей эры
ты будешь мастером или бугром.

Интеэровская Революция
от луны до подземных вод
сотворяет свою эволюцию
без резолюций на пол и род.

Мастер с практикой, пусть — не ученый,
инженера за пояс заткнет.
На бумажку свою огорченный,
не по мосту идешь, а вброд.

Сто пятьдесят миллионов
имеют бумажку-диплом.
Среди ахов, вздохов и стонов
дозвольте остаться с умом.

Позвольте остаться мне без бумажки
в нашей огромной стране.

Имею деньги, имею барашек:
не я, а вы идете ко мне...

Слава богу, друг мой Ибрашка,
изъездил ты много стран.
Я – не ученый, пусть я – букашка,
но не такой, как ты, болван!

Выйдем в горы, Ибраш, с барашком!
И шашлык залить – не грех...
И с бумажкой ты – букашка,
бедный, глупый человек!



XXXVII

Как хорошо б уснуть
и больше не проснуться:
не помнить день рожденья своего;
на чей-то подлый смех не оглянуться;
не слышать окаянных торжество!

Как хорошо б уснуть
и спать веками:
не слышать в небе бомбовоза гул;
не знать, что мы окружены врагами;
не помнить мой разрушенный аул!

Как хорошо б уснуть,
потом проснуться
через столетия — в иную власть:
глазами варвара на горы оглянуться,
от радости заплакать и упасть,
чтоб снова спать и больше не проснуться!



XXXVIII

И сладко, и больно в кочевье туманов
уснуть на перине мечтаний и грез,
чтоб ветер паскудной судьбы в Гюрхожане
не ранил шипами несбыточных роз.

Я – жертва, Эпоха случайных okazji,
но цель моей жизни – твоя красота!
Так пусть на дорогах цветами фантазий
осыпаны будут и сон, и мечта.

Вершина желаний, как горб Эвереста,
огромное небо мечтою подпер,
чтоб здесь, на Земле, с галактическим треском
разжечь человечеству светлый костер!

Так сладко, так больно, что в сумраке сердца
шуршание грез звездопадных дождей!
Но в жизни паскудной куда же мне деться
от трезвых, как камень, пропащих людей?



XXXIX

Был я на грани и самоубийства,
пьянствовал в омуте дна,
где падали звезды витийства
в болотные омуты сна.

Мною гордились! Но слабые духом.
Неучи славу плели.
Но тайным, но внутренним слухом
я слышал лишь голос земли.

Голос, как гордость униженной доли,
голос кабальной страны,
ты – музыка света и воли,
неволи прекрасные сны!

Я воспарялся и сердце крепчало
грозным бунтарством бойца,
и видел я жизни н а ч а л о
и ту, что не знает к о н ц а !



XL

Все, что было, – как отоснилось,
но мерещатся мне миры
там, где красным крылом забилась
птица розовая зари!

А над теми мирами, мне мнится,
не гудит, как у нас, бомбовоз...
Белый Ангел вдали серебрится
мимо наших кривых берез.

Он от пошлости и порока
убегает, глаза закрыв,
Ангел с думами о пророках,
и стремительный, как порыв!

И я тоже от мыслей угрюмых
поседел и устал скорбеть.
Ангел света и доброй думы,
дай мне крылья! Хочу улететь!



XLI

Не знала любовь и дружбу,
но побывала везде:
заупокойную службу
красной свершим звезде!

Горела не долго, но ярко,
и от гнева и от тоски
вздрагнула, вспыхнула жарко
и рассыпалась на куски!

Невиданным веером в космос —
в небытие отошла:
прощаясь, горячими космами
лица планет обожгла!

И они, потеряв тяготенье,
рухнули в бездну грез,
где космическое свечение —
капельки звездных слез!

Никто не поет о дружбе,
не плачет никто в беде,
заупокойную службу
свершая погибшей звезде.

Вскрыты вселенские двери,
но нет городов и сел...
Я в это, сволочь, поверю
и в это упрусь, осел!

Не будешь ловить в тенеты
и вышвыривать нации в ад!..
Цивилизации нету,
я этому очень рад!



XLII

Опорочен в гражданском долге,
верить не в кого и любить:
как же можно так мучиться долго
и знамена свои не сложить?!
За добро к этим людям он бился; —
это долг, что судьбой суждено;
но он цели своей не добился,
и болит его сердце давно...

Вы, обжоры, и вы, карьеристы,
Вы, ценители собственных шкур,
оскорблю я разбойничьим свистом
вас и ваших красивеньких дур!

В небе звезды горят равнодушно.
Вечер. Двор. И худая коза.
Ах, как душно, товарищи, душно!
Видно, завтра нагрянет гроза!





П
О
Е
З
Д

Л
И
Т
Е
Р
А
Т
У
Р
Ы

Фазилю Искандеру

I

Кто в купейном поет, а кто — в международном,
кто в плацкартном сопит, кто в «сидячем»

храпит:

всюду тесно... И только на крыше свободно
посредине богемной братвы сумасбродной, —
паровозик свистит, ветер в уши гудит.

Там в вагонном нутре, хоть уютно, но тесно,
там за кресло или персональное место
сын родного папашу готов разорвать,
чтоб на крови его замесить свое тесто
и с прихрюкиваньем это месиво жрать!..

Здесь, на крыше, я Родину вижу в натуре:
небо, горы, поля, села и города...

Без восторженных дур и без макулатуры
крыша скорого поезда литературы —
мое место Державное и — навсегда!



II

К. Мечиеву

Он знал томленье светлой страсти
и мир любил, как взор детей;
но был обманут темной властью
судьбой возвышенных людей;
но верил правде, свету счастья,
но, разуверившись душой,
он взор с надеждою и часто
бросал на божий мир с тоской;
он на любовь не ждал ответа
от праздной и скупой толпы,
но категориями света
замыслил контуры судьбы
и славы ждал, но не дождался
за верность долгу и труды.
Он мог, но он не надругался
и сердцем не питал вражды
к наветам низким и верховным —
не осквернил хулой уста,
а жил прекрасным и духовным
и был возвышен, как мечта,
и, как мечта, мечтая песней,
воспел в сиянии высот
твой гордый нрав и взор небесный,
из тьмы бежавший мой народ!



III

Видимо, надо всю жизнь томиться,
жалость какая, какая тоска:
мне не подарит и царская птица
капельку птичьего молока!

Птичка-синичка, ты – божья коровка,
хочется птичьего молока,
чтоб мозговую мою коробку
не отуманивали облака...

Эй, потаскухи и литворишки,
замрите над водкой и шашлыком!
Отдайте в культфонд свои излишки,
чтоб смог напоить я ваши умишки
птичьей поэзии молоком!



IV

Я искал себя долго,
о себе я мечтал,
как о собственной «волге»
Мустафир и Кямал...

Я летал самолетом,
шастал на поездах,
прыгал я с вертолета
с автоматом в руках.

На машинах я ездил –
плохо иль хорошо! –
я полмира объездил,
но себя не нашел.

Ничего я не значу
в моей жизни слепой
оттого, что маячу
тенью перед собой.

Я – не тот, кого видят,
я – другой, что идет,
не любя, ненавидя,
впрочем – наоборот!

Он – не я, этот идол,
он от горя не зол:
я же все перевидел –
ласку и произвол.

Хорошо ему очень
вне могилы моей

воспевать твои очи
в мире лучших людей!

В этом мире не грубом
будет долго он жить:
целовать твои губы,
тело нежно любить!



V

Не тронь поэзию мою,
она тебе —

не шлюха!

Дойдет кристальное до слуха —
я запою!..

Не дозовусь былую робость,
былую дрожь не дозовусь:
в любви становимся — как роботы,
какая грусть!

Не нахожу былую скромность,
нет ни в хоромах,

ни в саду:

великость и огромность,
под вашей ношей я иду
и так краснею от стыда,
что даже злости не хватает!
Медленно, но верно тает
под сердцем помыслов звезда...

Усталый воин,

глаза сомкну,

но кружит сновиденье
дневных боев виденья:
и до утра не отдохнуть.
Дающих силу

сновидений,

убей меня, не дозовусь!

И в пепелища

древних поселений

кровоотчащую душою рвусь.

Что ей

людей былые грозы?

И будущее их к чему?..

Но,

словно росы,

на пол слезы

так часто льются на кошму.

Теряя всех

и все на свете,

не смог я слезы потерять:

с позорным прозвищем поэта

придется мне

в земле

лежать!



VI

Я горд, что я – мастер ритмов,
а на рифмы ваши

плюю!

Я – житель Третьего Рима,
но, как римлянин,

совесть не продаю.

Можно б штаны –

за рюмку водки,

увы! Без портков обойдется народ.

На трезвянку

послушаем сводку:

она уже меньше,

братуха, врет.

Я, как Уитмен,

постамент себе не поставил.

Не обессудьте за это меня!

Зато я мать и жену не оставил
у потухающего огня.

Будет время, я думал,

будет Болотников,

но быстрее оказался

образованный Разин Степан!

Краснодеревщиков

переродили в плотников,

кто смастерит мне, скажите, диван?..

Ты, кто думает, что легко и знатно
законы вершат в Кремле,
ошибаешься или

ты – платный

агент на нашей земле.

Там свои катавасии тайной битвы
и безмолвные

стратегические бои;

там – иные кумиры, иные молитвы,
иные песни –

иные у них соловьи!..

Все – как-будто от бога:

неужто я выбрал прямую дорогу?

Бога – совесть людскую! – благодарю
и эту дорогу,

как лучшую в мире премию
за горевые мои академии
тебе,

лжедемократия,

я ныне дарю!



VII

...Из аула в город везем молоко,
а оттуда, в аул – «умрешь с тоски»...
Мы лес везем из таежного далеко,
а из Москвы в Барнаул гоним порожняки!..
Нет билета? Товарищ, не дрейфы!
Иной в загашниках дремлет кейф:
не успеешь дохавать кашу
среди пыли и тухлой кильки,
доедешь «билетников» раньше:
грохочут порожняки
от БАМа до Нальчика,
оближешь пальчики!..

Были черные годы переселенские,
и ныне мне ночи меркенские
в сновиденья приходят ночами:
сиротство народа – как выдох тоски.
Кому расскажешь про эти печали?
Гонишь, братуха, порожняки!..

В нимбе библейском старый свистун,
хвост пушистый в штанину спустил.
Грех такую скрывать красоту
от таких благородных, как я, кутил!
От Москвы до Парижа
и оттуда до голых камней Кирки
на смех курам Махачкалы и Зарагижа
гонишь, прославленный, порожняки!..

О ты, кто поднял хрущевизм, как знамя,
но прикрыл сталинизмом тылы!
Неужто ты тоже с нами,
неоклассик из Каркаралы?!

Эй, вы! Сказать вам, чьи вы — холопы,
белореченские чудаки?
Кёндененовские остолопы,
допотопные виршевики,
гонят с вами, ослиами, порожняки!
Среди вас долго душою я мыкал,
облаян в собачьем раю,
но в строчки не тыкал я каждое лыко,
чтоб стать лауреатом в нашем краю!
Мне полезнее в перечне быть среди «прочих»,
ибо «перечень» этот сочинял литанашист.
Я же хлеб добывал руками рабочими,
как шахтер и тракторист!
А вас, ославивших высокое званье Поэта,
я б сделал ментами — охранять «толчки»,
чтоб вы через радио и газеты
перестали гонять порожняки!



VIII

Анестезия от невзгод —
сии рифмованные строки:
и я живу, за годом — год,
и ближе, зримей жизни сроки;
и видимей границы дней
судьбы мятежной и суровой;
и уж ничто былых страстей
не возвратит мне к жизни новой;
Огонь в агонии души
не возродит любовь былую.
Бери, что можешь, но спеши
понять лишь истину простую:
для блага родины живи,
идя дорогою Отчизны.
Знай, суть твоей земной любви —
единственная правда жизни!



IX

Был шторм. Мой катер заблудился,
и я на бога, возроптал...
Когда мой ангел опустился,
я не любил и не страдал;
но все же протянул я руки,
и в слух мой ангелы внесли,
что есть и радости и муки
в правах Поводыря земли!..

И я на палубу свалился,
недугом странным поражен:
и мир в дерьме и крови снился,
и в нем я, как в ловушке, бился,
стыдом до срама обнажен...

Когда очнулся, удивленье
и радость с горечью сплели
в душе бывшие сожаленья
в руинах горестной земли;
но, ощутив душой свободу,
я встал и катер свой повел,
как пращур, обновлять природу
и жечь божественный глагол!



Х. ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Памяти Н. Рубцова

В садах бессмертных русских Муз
он знал свое предназначенье,
взвалив – он не был исключением! –
на плечи непомерный груз.
Он говорил: пою я поле,
ты горы южные воспой;
поэзия стремится к воле,
стремится к свету, как слепой...

Мой поезд мчится, паровозы
мои гудят еще в пути;
но не пишу я больше оды,
восторги не храню в груди;
но, музам преданный навеки,
я вспоминаю в трудный час
тебя, поэт, как человека,
и легче мне во много раз
терпеть и бедствовать, как прежде,
и неподкупным быть всегда:
ведь наша общая надежда
была Полярная звезда!



XI

Первый снег мой, 301-й,
кто отметит твой полет
с несказанной в мире стервой,
исказив от страсти рот?
Не ворвется к вам мой гений:
и докажет этим он,
что и гений сновидений
на забвенье осужден...

Истлевают в жилах нервы,
паралич плеча возник...
Первый снег мой, 301-й,
ты к плите моей приник
и шуршишь ты изначальной
грустной песней всех времен
о людской судьбе печальной,
лживой,
 краткой,
 словно сон.



ХII

Вокруг любого хмыря пренья,
в газетку свистнул: глянь, поэт!
Среди коллег по песнопенью
мне места нет. Адью, привет!

Предложил я талант и разум:
хотел я строить, жизнь воспеть;
но все воскликнули тут разом:
– Ну что вы, что вы! Места нет!..

Тогда я скальпелем сомненья
коснулся язвы дней разок
и получил без промедленья
парашу и дверной глазок.

...Я выбрал место для ночлега,
изрек себе: плодись и пой!..
Но дюжина моих «кол-лэ-гов»
подняла вой за упокой.

И на горбах земли проклятой
я думать стал и стал гадать,
каким мне быть и кем мне стать:
Сикстом V или Христом распятым?



ХІІІ

Был ты горд, красив и смел,
о батыр Востока!
Все, что в жизни ты имел, —
два красивых ока:
непокорен был мечу
и ушел в гордыне,
как уходит речка Чу
под пески в пустыне.
С неба звезды озарят
темный дол Востока:
в песнях девушек горят
два красивых ока!..

Пел ты доблесть под домбру
о народе пленном.
Холм батыра на ветру
пусть стоит нетленно!
Пусть плывет луна, как блин,
уроняя крохи:
голос твой сквозь толщу глин
оскопит эпохи...

Будь, поэт, правдив и смел,
ты — батыр Востока!
Все, что в жизни ты имел, —
два красивых ока!



XIV

Я равнодушен к разным спорам
и дразгам мелочных людей.
Так равнодушно внемлют горы
буранам снега и дождей:
и мрак, и пропасти, и кручи, —
но горы над землей парят
и, лбами скал встречая тучи,
вершинами глаза слепят!
Им что! Пускай бегут олени,
и пусть пред бурей сник аул:
их будит от великой лени
один лишь реактивный гул...

Вот так и я: от вечной лени
пред бурей жизни устоял
и не согнул мои колени
пред теми, кто сильнее скал!



XV

Поэты, вы – птицы страданий,
я знаю, вы пели
под гнетом суровых деяний
о прахе и пепле.

Вас кутали жухлые ветки
позднейших, позорных песен:
сорвали их времени ветры,
остались камни и плесень.

О вечное море бессмертья,
эпохи – как волны столетий!
Я чую под сердцем безмерным
плоды благотворного лета.

И сам я залетною птицей
летаю в огромном небе,
где изредка счастье мне снится,
но как-то туманно и немо.
И петь мне в пучине страданий,
как в прошлом вы пели,
над вымыслом наших деяний
о прахе и пепле!



XVI

Я вскормлен по-спартански в годы лихолетья
и все же шепот светлых звезд я услышал.
Целинная земля, окраина столетья,
промчалась жизнь моя, покуда я пахал.

Пахал плугом пера, цветы добра я сеял,
высмеивал порок и ненавидел зло;
но беспощадный рок над полем жатвы реял
и потому мне в жизни так и не везло.

Я верил истине и жертвовал искусству
и благами властей не истощал мой дух:
всегда равно внимая и разуму и чувству,
я к горестям людей вовеки не был глух.

Ничем помочь не мог, но слово утешенья
я находил всегда изгоям и друзьям:
и облегчал я тем, быть может, их мученья
и преграждал дорогу темным их страстям.

Я пропустил сквозь мозг земли лихие вьюги,
их эхом огласив теснины гор и глушь;
и сам я, видит бог, лечил души недуги,
утешен добротой людских сердец и душ!



XVII

Счастья нет и не ждите – не будет,
но свободу мы можем добыть:
и, пьянея, поэт не забудет
то, что хочется вам позабыть.
Цепи грубые вас тягчают,
и пугает вас грозная плеть;
но смягчают вас и приручают,
в золотую сажая клеть...

Двинусь к лесу я шаткой походкой,
чтобы спрятаться от упырей,
иль в обнимку с отпетой красоткой
я возлягу на пыльный пырей;
и пусть ищут овчарки эпохи –
буду спать под унылый их лай.
Я – тюркют, и дела мои – плохи.
Эй, жена! Мне коня не седлай!
Не готовь мне, механик, в дорогу
элегантнейший автомобиль!
Все старо в этом мире, ей-богу,
а все старое я разлюбил!..

Мне до лампочки ваши мученья,
пью за тех, кто нас любит и ждет,
и среди светского ограниченья
ожидает мой творческий взлет!



XVIII

Мы не верим другим талантам
и, конечно, не верим себе,
на дерьмо сменив бриллианты
и в своей и в чужой судьбе...

Над землею гудят моторы,
как пророчество будущих лет.
Нет эпохи в глазах шахтера,
у министра — тоже нет.

Очень мало нас, очень мало,
в ком, бурля, закипает век
и клубятся земные туманы
в грезах дымных космических рек.

Мы забыли леса и озера
в синих отблесках чистоты
и храпим на ложе позора
пьяные до тошноты...

Только где-то, я точно знаю,
среди временной тишины
над пьяными нашими снами
брови умные сведены.

И покуда живут такие,
и покуда не спят они,
и Венеры будут нагие,
и пастушеские огни!

И я верю таким и знаю:
в каждом городе нашей страны
над пьяными нашими снами
брови умные сведены!

XIX

Так же, как ветер
из горла теснин
рвется под вечер
в просторы долин,
словом и делом,
и яростью мук
к светлым пределам
стремился мой дух.

Светлая память
и звездная твердь.
Чувства – как пламя,
не можно не петь!
Будешь доволен,
хоть плачешь порой,
если ты болен
великой мечтой.

Время мешало,
но ангел мой пел:
«Слово есть дело
бессмертнейших дел!»



XX

Спокойно, Мари Франсуа Аруэ, отойди!
Ожог, как от сварки! Эпоху варили в груди.

Иная эпоха, иные – в искусство пути.
Прости меня, Господи, от сатаны отведи.

Вся истина – в людях, но люди таятся в грехе
и звезды Вселенной – как зерна в пустой шелухе.

Как шаровой молнией, в очи ударит звезда! –
Сквозь мрачные бездны, шатаюсь, иду в никуда.

И в долгом пути, как от солнца до первой звезды,
седлаю всех чаще коня вороного беды.

Лечу, задыхаясь... Ищу, что Земле не дано.
Хочу помолиться, да коврик утерян давно.

Всегда ошибаться, в беде ушибаться могли.
О счастье, ты – хвост метеорный, сверкнувший
вдали!

Спокойно, и ты! Ты – ошибка природы, Али!



XXI. ПАРАШЮТИСТ

Удары сердца я считал,
так счет ведет испуг:
и этим точно рассчитал,
и точно сел на круг...

Вот так пишу я и стихи:
и в зеркале стиха
отчетливо видны грехи,
в которых нет греха.
И пусть шумят мои враги!
Я – тот же да не тот:
спиралью ввысь идут круги –
падение ввысь идет!



XXII

Одинокость – судьба поэта
и, быть может, до самых седин.
За мной – ворота, натянуты сети:
играю в хоккей один.

Сам – вратарь, сам же – защита.
Напасть бы! Да некогда, сам!
Прострельными тело прошито,
мотаюсь по всем углам!

Охраняю Ворота-совесть
с вечера, и до утра...
Это – простая повесть,
но не простая игра!



XXIII

Я видел славных истуканов —
лауреатов и певцов,
и в честь их звон литых стаканов
я слышал на пирах глупцов;
но божье зрел благословенье
я не в случайностях судьбы:
равны хвала и озлобленье,
и слава жалкая толпы!
И сердцу, знавшему лишь горе,
обман и ложь «больших людей»,
милее с каждым днем изгой
и пасынки пустых идей!



XXIV

Завыли у леса подлунные дети,
вся стая завыла навзрыд...
На стыке голодном двух горьких столетий
дозвольте мне тоже завывать!

Сияет ягненком поэту и волку
в зимние ночи луна;
но нам, одичалым, в провалах двустволки
две смерти таит тишина...

Под шорох в деревьях весеннего ветра
я рад бы предугадать
пронзительным оком, божественным светом
грядущую к нам благодать;
но нет, не хочу я в предверье порока,
пытаясь не зарыдать,
в чине непризнанного пророка
родину духом объять!..

Ничтожна нейтронная ваша попытка
унизить великую цель:
сквозь войны, века голодания и пытки
идем мы, как горная сельь.
Как до Андромеды – до нашей свободы,
но нам справедливость нужна:
нам малым, но древним, великим народам,
как каждому дом и страна!



XXV

Сегодня восстанешь над миром
великою песнею, но
навстречу мелодиям лиры
никто не откроет окно.

Молчите об этом, клеветы,
поэты грядущей весны!
О ветер забвения, где ты?
Развей же жестокие сны!

Хотя б в сновидениях жизни
увидеть прекрасную даль
и знать, что это — Отчизна,
в которой уснула печаль!



XXVI

Пред вечностью – миг единый
20 иль 200 лет:
Омара Хаяма седины
не помнит космический свет;
не помнят Шекспира и Данте
круги орбитальных планет...
Вы, ныне поющие, встаньте!
Где ты, великий поэт?!
Пред Гением склоним мы выи
и, разум уснувший будя,
уловим слова золотые
в тенета слепого дождя!..
Никто свою тень не обгонит:
я тоже кочую во мгле,
не зная – какие законы
господствуют на Земле!



XXVII

Когда теряет очертанья
мой мир и холодеет кровь,
ничтожным кажется страданье,
никчемной видится любовь;
и сам, как зернышко планеты,
несомый бурями эпох,
как заблудившиеся дети,
притих под громом и оглох;
и страх – без разума, звериный! –
возникнет из глубин груди:
страшней, чем с мордою тигриной
столкнуться путнику в пути!..

Но цепи сброшены гипноза
невидимых, но лютых глаз:
и вновь – поэзия и проза,
и вновь – веселый, звонкий час!
И зримы мира очертанья,
и забываются года,
как будто не было страданья
и мук душевных никогда!



XXVIII

Я жажду жизни, но не этой —
великих дел ищу душой,
но заковали жизнь поэта
молвой и грязной клеветой.
Ярлык пришили и решили
убрать с великого пути:
какую грязь на мне тащили,
но грязи не было в груди.
Я — тот же, что и был когда-то
в столицах и на рудниках:
мою решительность солдата,
прочтете вы в моих зрачках.

Настанет время. Да, настанет.
Нас мало, но мы тем сильны,
что сердце будущих воспрянет
огнем, которым мы полны!
И в гроб с названием «презрение»
положат ваше имя и
в могилу сбросят с омерзеньем
во имя... только не любви.



XXIX

Отдыхаю, но нету погоды,
солнце Крыма за горы ушло:
так ушли мои лучшие годы,
когда зрелости время пришло.

Наплывает огромное море,
о прибрежные скалы сопит.
Затерялась ладья на просторе
и голодная чайка вопит.

И, как море, душа моя стонет,
чайка песни над нею парит,
но в пучине любви не тонет
и на скалы любви не летит.



XXX

В листопаде времен
я —

одинокий клен
одинокой нищей скалы
и, покуда не сорванный
ветром эпохи,
трепещу и плачу,
и думаю думу родимой скалы,
и слезами дождей
о минувшем
грядущему миру пою,
но никто мою песню
покуда не слышит,
кроме

встающего солнца
надежды людей...

Пусть дела мои плохи,
но зато

в листопаде времен
под нарастающим ветром эпохи
чудесный

мне видится
сон!



XXXI

Ты, Поэзия, – в шелесте мая!
Озаряю тобою судьбу:
несказанный твой свет принимая,
я тебя не считал за рабу!

Ты, Поэзия, – в шорохе лета!
И повсюду – в цветке и во мне:
как далекое эхо привета,
слышу голос твой я и во сне!

Ты, Поэзия, – и в листопаде
в желтом платье мелькаешь кругом:
и на свете нет высшей награды,
чем приход твой в осенний мой дом!

Ты, Поэзия, в зимнюю пору
вдруг нагрянешь, как благо и тишь:
белой сделаешь черную гору,
души темные ты просветлишь!..

И порою, звездою из мрака,
нарушая покой мой и сны,
призываешь меня на драку
гневным оком священной войны!



XXXII

Что властелин? Его согнет судьба
и оскорбит неверных дел крушение:
лишенный власти он, ему – труба,
забытый всеми, он умрет в забвенье.

Что воин мой? Сурова и груба
твоя мечта, как боль и поражение:
храм дел твоих, как жертв твоих мольба,
в конце концов потерпит разрушение.

Пусть ярость зависти слепит и сушит,
но не иссякнет, правда, твой родник!
Пусть зло, как тать, тебя за горло душит,

не гнись, поэт, не завяжи язык:
приходит слава к тем, кто правдой жил
и милости у сильных не просил!



XXXIII

Молчит здесь все: вода и берег темный,
в грозовых тучах звезды, словно дичь,
полупопрятались, и мир огромный
страданием тихим я хочу постичь.
Судьба моя, ты – странная планида,
я мог бы в жизни быть и поновей,
когда б необычайные обиды
случайными бывали от людей.
И ныне жизнь, как небосвод высокий,
мне угрожает градом и дождем;
и все же я, отшельник одинокий,
забыв про все, подумаю о былом.

Я бегал по оврагам и дорогам,
и яблоки трусил в чужих садах;
и верил жизни я еще, как богу:
мечтал о славе, как о небесах!
И на земле изгнанья благосклонно
я был отмечен Музой с юных лет:
с тех пор иду дорогой неуклонно
с клеймом во лбу: безумец и поэт.

Пустынно все: и пруд, и берег темный;
и будущее – смутно и темно,
но понимаю: этот мир огромный
постичь страданием тихим не дано.



XXXIV

Когда бывает одиноко,
а сердце стонет и кричит,
и мир становится жестоким,
и друг предательски молчит, —
тогда приходит вдохновенье,
бросая тело мое в дрожь:
нежданное, как провиденье,
и страшное, как в горло — нож.

И я пишу, вернее, плачу,
молитвы и угрозы лью,
и забываю неудачу —
мечтаю вновь, и вновь люблю;
и не нуждаюсь я в признании
друзей, врагов или властей:
купить мое одно страданье
казны не хватит у людей!



XXXV

В пыли веков цветут мои каштаны,
над ними свод небес обуглен и суров:
меж ними проносились ураганы
навьюченных, как ослики, годов.

Я тропы проторил в сердца и души,
но тропы те бурьяном заросли,
покуда околачивал я груши
на всех задворках горестной земли.

Менял друзей, менялись и подруги,
и даже ты не ведала, родня,
какие мне терзали сердце муки,
какая жажда вдаль вела меня!

Я говорю, поэт из Гюрхожана:
– Ударит солнце, скроется туман,
и будут шелестеть мои каштаны,
цветы веков роняя на бурьян!..



XXXVI

Пою беспутного потомка
серьезных воинов земли,
воспетых эпосами громко
на исторической мели!
Не морщу лоб среди останков
и пепелища очагов.
Исчезли кони. Будут танки
лупить под скалами врагов!
Прости меня, рабочий парень,
подай к машине моей трап:
в полете я с богами равен,
а на земле – презренный раб!
Я потому не опускаюсь
с высот поэзии моей
и, упадая, я не каюсь,
и не ищу других путей!

И так – всегда: в полетном гуле
сверкают крылья мятежей
и женщины в родном ауле
растят для неба сыновей!



XXXVII

Мне было все равно – какая
лидирует над миром власть:
могила темная, сырая
за мной сомкнула свою пасть.

Мне было все равно – закат ли,
рассвет ли над землей встает;
свой воин ли, чужой солдат ли
с кровавой раной упадет.

Лежу не радуясь, не плача,
и вспоминаю без вражды
земные цепи неудачи
хулу, наветы и труды.

А там, над сушей и водою,
как бы в библейской вышине,
с небес Поэзии звездой
сверкала слава обо мне.

И люди шли толпой на вечер,
чтоб там мои стихи читать...
Желал я крикнуть им навстречу,
хотел им что-то рассказать.

Хотел я крикнуть: – Нет поэта!
К чему такой ажиотаж?
При жизни было, правда, это,
а после смерти – камуфляж.

Зачем мне, мертвому, приветы,
хвала, потоки их речей?..

Смеются в мире том поэты
над поздней славою своей.

Смеются глупые народы
над вами, Данте и Хайям.
Зачем ушедшим ваши оды?
Им там не нужен фимиам.



XXXVIII

Жизнь, предначертанная по звезде,
светит тускло, как глаза твои, мама.
Я – последний в удивительной череде
сарацинских имамов.

Рок ли путь мой испепелит?
Нет надежды, но есть обманы;
но обманами не исцелить
наших душ ядовитые раны.
Все промерзло – душа и земля,
но умру – буду вечен, как мамонт.
Надо мной – пирамидальные тополя,
да не имут сраму!
Блаженствуй и ты, кто не смог
игнорировать дух униженьем:
ты сам себя превозмог,
возвышаясь над возвышеньем!..

Он посмертно подарит Земле, как звезде,
созвездья исчезнувших храмов,
самый ничтожный в удивительной череде
сарацинских имамов!



XXXIX

Сапожник, я всюду тебе благодарен,
спасибо, ты – бог молотка и гвоздя!
Работаешь в деле своем не бездарно,
и в снежную замять, и в пору дождя.

Но там, где рифмуются ветла и грозы,
я – демон, попробуй меня догони!
Дарую по прихоти женщине слезы,
но я и обрадую в грустные дни...

Грустные дни надвигаются в деле, –
охотно в поэты сапожники прут:
послушаешь – вывернут душу из тела,
в ушах – словно кошки по жести скребут.
Возможности в нашей отчизне огромны,
зачем вам, скажите, плевки и грехи?
Не портьте нам печень: и так мы бездомны,
и так мы живем не за наши стихи!



XL

И здесь, в верховьях Гюрхожана,
когда мой город там, внизу,
чуть видимый лежал в тумане,
я чувствовал в душе грозу
и смутные людские муки,
что ветер снизу, в меру сил
разъяв на шорохи и звуки,
как дар ненужный, доносил, —
тогда, глуша воспоминанья,
бросал я мой усталый взор
на скал басханских очертанья
и серебро чегемских гор.
И думал я: какую волю
для диких коз Аллах создал!
И позавидовал их доле
и мирной жизни среди скал...
А там, левее, с возвышенья
орел крылами замахал
лениво так, как в сновиденье:
и чуткий слух мой в отдаленье
ружейный выстрел услышал.
Не вдруг... но все ж я озирался:
откуда, мол, в душе тоска?
Так в детстве, было, просыпался
от грубых криков и пинка.
И в горле стал комок упрямый,
и я заплакал на закат
о вдовьей доле старой мамы
и о тебе, отец-солдат.
И после долго ночью звездной
не мог уснуть и слышал вой —
далекий, тягостный и грозный
за речкой, там, где лес густой...

О, нет! И вы невольны, козы!
И вас пугает волчий вой;
и бьют вас огненные розы
из хляби тучи грозовой;
и вы от выстрелов дрожите;
и вас терзает коршун злой;
и от людей не убежите,
как от болезни чумовой!..
Я вижу кровь и слышу стоны,
луна кровавится, как таз!
Сквозь щели, тайные закона
вам браконьеры целят в глаз...

Сюда, на каменное плато,
не покоряясь никому,
и тур, и ты, олень рогатый,
придите к брату своему!
И он, как вы, гоним волками
за то, что начал вольно жить,
вселяя мужество стихами
в сердца, способные любить!



XLI

Поэт и жрец золотого Феба,
я, тайный друг Киприды,
питаю тело черным хлебом
и тухлою ставридой...
О боги, вы, и вы, богини,
покинули планету,
оставив нам одни пустыни —
пески и камни эти!
Ища, крылатых, вас на карте,
мы шарим тьму руками
и чувствуем, что мы, как Спарта,
покинуты богами.
Перед началом страшной битвы
планеты с небесами,
какую сотворить молитву,
чтоб вновь вы были с нами?
Куда бы не бросал я взоры:
покинутые вами,
мои поля, моря и горы
окружены врагами.

Под горький звон пустых стаканов
рождая дрожь в колене,
бескрылых черных великанов
страшат нас злые тени!



XLII. ШАХСЕЙ-ВАХСЕЙ

Шахсей-вахсей,
толпою всей
пойдем на пир кровавый,
не ради славы!
Шахсей-вахсей,
не Моисей
и не Иисус с его крестом
и осеняющим перстом!
Шахсей-вахсей!..

Пророка внук Хусей,
потомок Мухаммада,
пришел в зороастрийский край,
но, испытав все муки ада,
ушел в неведомый нам рай...

И шах Зият, язычник злобный,
главу великую отсек:
и п е р в ы м
стадион свой пробный
открыл ликующий Восток!
Ахур-Мазда главой поник,
ликуют силы Ахримана!
Не в Англии
футбол возник,
возник в Иране!
Ори, Иван! Свисти, стукач!
Футбольный мяч –
твоя башка, шахид Хусей,
шахсей-вахсей!..

Идет игра, в крови – трава.
Футбол бушует:

летит шахида голова,
аскер-баши тушует!
Все побежденные должны
глядеть,

дуряя:
Хосрова грязные сыны
пинают
голову Хусея!..

Шахсей-вахсей,
шахид Хусей!
Москва. 69 год.
Глядит народ,
разинув рот —
такое время!
Встает закат кровавый:
я камню подставляю темя
не ради славы!
Сестра царапает глаза,
свои, конечно:
щекой кровавая слеза
стекает бесконечно.
Мать палкой бьет себе
по заду
и по бокам!
Не сосчитать кровавых ссадин,
ликуя,
вам!..
Убит был предками Хусей,
прости, Аллах!
Шахсей-вахсей!
За прошлую измену
карай себя на всю страну!
Но вот беда,
куда я дену,
нагую грех-мою-ханум?!

Пускай, как рыбки в сковородке,
рабы снуют вокруг мяча
и рты болельщиков, как сводки,
от бешенства страстей и водки
о бомбардирах нам кричат!
Нам не играть в футбол,
не забивать нам гол!
Шахсей-вахсей!
Кровава рана:
шахид Хусей,
ты – боль Ирана!..

Сижу я.
Стадион «Динамо».
И думаю о том,
что головой моей,
о, мама,
играют, –
не мячом!..

Твоя башка, поэт Али,
летит над стадионом
к богу,
как рыжий шар Земли
космической дорогой!
И вот свистит,
и вот летит
к воротам он!
Хватай, вратарь!
Атанда!
Гол!..

И вой,
и рев –
со всех сторон...
Таков футбол!

Я ночью бормочу сквозь сон:
— Салам тебе,
шахид Хусей!..

Но слышу глас
иных времен:
— Шахсей-вахсей!

Полундра, брат!
Менты!

Атанда!

Дроби руду
сердечной боли —
в крови шахтеров,
как в баланде,
щепотка соли!..



XLIII

У вечных льдов, целуя тучи,
цветок сорву я голубой
и радостно на снежных кручах
сравню его с моей судьбой.

Быть может, чудом, ненароком,
но все ж, как светлого намека,
расцвел на льдах в краю высоком
моей поэзии цветок!



XLIV

Я завидую им от сердца,
как отличнику – хулиган:
за тяжелую, мокрую серость –
как осенний лесной туман;
за нахальство умело стучаться
мокрым ветром в любое окно:
приспосабливаться, отличаться
там, где пикнуть мне не дано;
за их чутко торчащие уши,
как у лайки, почуявшей дичь;
за умение бить баклуши,
когда надо отару стричь;
за их яркое чувство шестое –
знать откуда подул ветерок:
это чувство, друзья, неземное,
это чудо дарует лишь бог!

В их твореньях души не чаю,
в благодарность могу сказать:
тридцать лет я у них обучаюсь,
как не делать и как не писать!



XLV

В волнах рева эстрадных певиц
среди неона
 электроогней
под вой мужеватых девиц
и женоподобных парней, —
ты,
кто стал бы пророком, —
пьяным ликом уткнулся б в порог,
ибо пророком

 в мире порока
бывает лишь только

Порок...

Пой свою песню,
непредсказуемый,
из печени пой,

из нутра!

Ты,
никем еще не наказуемый,
в чем же твоя хандра?..

Когда-то по отчему краю
по болотам —

 и в бурю, и в штиль, —
в злобе яростной умирая,
я голое сердце катил!
Укатилось оно, как солнце,
и настала ночь

 для меня:
и спит душа моя сонная —
ни звука в ней, ни огня...

Митинги, демонстрации,
это —

лишь сонный бред,
навеванный эмансипацией,
а не
пробуждения свет!
Мне больно,
мне горько на свете,
по капле
сочится кровь:
верните мне, люди,
сердце поэта.
себе же —
мою любовь!



СОДЕЖАНИЕ

Сидре	5
-----------------	---

КАРАВАН ЛЮБВИ

I. «Лежат барханы в вековой гордыне...» . . .	9
II. «Я гляжу в твои карие очи...»	10
III. «Парил я в жизни Синей птицей...»	11
IV. «Слева скалы, справа горы...»	12
V. «Мне снится и снится: и только во сне я живу...»	13
VI. «Когда постареешь, не мне...»	16
VII. «Мне грустно: знаю, ждешь ты ласки...»	15
VIII. «Козы рогатые, выставив морды...» . . .	16
IX «Истины вечная боль...»	17
X. «Между нами — поток, ты — на том берегу, я — на этом...»	18
XI. «Стонет гора под зеленым платком...» . .	19
XII. «Упал туман, вспотели стекла...»	20
XIII. «Словно белою кипенью...»	21
XIV. «Мирабель расцветала в горах...»	22
XV. «Молодая, но с женственным тазом...» . .	23
XVI. «Пусть в сердце взрывались столетья...»	24
XVII. «Отцвели, как сады, и опали...»	25
XVIII. «Крест. Березовый шест...»	26
XIX. «Уже она не снится мне ночами...» . . .	28

XX. «То ли росы в ветвях, то ли слезы?..» . . .	29
XXI. «Мне вспомнились черные косы...»	30
XXII. «Над темным миром две звезды горели...»	31
XXIII. «Она – кобылица Синайской пустыни...»	32
XXIV. «Приятно быть первым у женщины...»	33
XXV. «Малюточка, ангел, дрянь...»	35
XXVI. «На фиолетовом небе звезды...»	36
XXVII. «Сонное солнце, как желудь...»	37
XXVIII. «Когда же уходит любовь...»	39
XXIX. «В синих тучах луна посинела...» . . .	40
XXX. «Любовь от темени до пят во мне горит...»	41
XXXI. «Прощай, залетная девчонка...»	42
XXXII. «Есть великая смерть – смертоносная жизнь...»	43
XXXIII. «Как в цвете яблоню весной...»	44
XXXIV. «Ты – белый призрак...»	45
XXXV. «...И был великий и могучий Рим...»	46
XXXVI. «Вот и все. Как змея подползла...» . .	48
XXXVII. «Когда в плену нескромнейшей мечты...»	49
XXXVIII. «Не зная ни грусти, ни слез, ни гор- дыни...»	51
XXXIX. «Поэзия! Муза! Безумно люблю...» . .	53
XL. «Уплывали луна за луной...»	54
XLI. «Сверкает белыми снегами...»	55
XLII. «Бывает обманутым каждый...»	56
XLIII. «Случайная встреча. Твой взор...» . . .	57
XLIV. «Два огня, две стихии, две раны...» . . .	58
XLV. «Допотопный комод. И кровать...» . . .	59
XLVI. «Ну что ж! Пока еще не поздно...» . . .	60
XLVII. «Тобою музыка забыта?...»	61

XLVIII. «Как будто бы льет мне божественный свет...»	62
XLIX. «Встану утром пораньше. Дымятся пруды...»	63
L. «Ужасные не знал ты муки...»	64
LI. «Жизнь проходит, но мы не поймем...» . . .	65
LII. «Девушка эта, как ангел, чиста...»	66
LIII. «Счастья не было, нет и не нужно...» . . .	67
LIV. «Как чумные, аллеи сада...»	68
LV. «Ведь и я утешался любовью...»	69
LVI. «На сердце, как в лесу, темно...»	70
LVII. «Ни оплаты, ни расплаты!...»	71
LVIII. «Бродит месяц облаками...»	72
LIX. «Головокружительная крошка...»	73
LX. «Ах, ты, осень моя золотая...»	74
LXI. «Пусть же ветер злобно воет...»	75
LXII. «Скажем, надежды химерны...»	76
LXIII. «Мелькнул огонь чудесный...»	77
LXIV. «Не до нежностей, не до усад...» . . .	78
LXV. «На свадьбах или новосельях...»	79
LXVI. «Ты знаешь театральное искусство...»	80
LXVII. « – Ты старше моей дочери...»	81
LXVIII. «Нежных креветок задумчивы сны...»	83
LXIX. «Пусть влюбляются эти и те...»	84
LXX. «Проходят страсти на рассвете...» . . .	85
LXXI. «Когда-то женственной тайной...» . . .	86
LXXII. «Как-будто не было...»	87
LXXIII. «Глаза мои – города, ты об это не знала...»	88
LXXIV. «Прекрасной ты была девчонкой...»	89

LXXV. «Ты в покое как ангел прекрасна...»	91
LXXVI. «Такая ли была вначале...»	92
LXXVII. «Ты – принцесса наследная грозных алан...»	93
LXXVIII. «Когда тоскующе свистит...»	94
LXXIX. «Усталому сердцу отрадно...»	95
LXXX. «Сверкает белыми снегами...»	96
LXXXI. «Ты озари улыбкой нежной...»	97
LXXXII. «Светлы страдания и муки...»	98
LXXXIII. «Верь, любимая, сердцу! Иначе...» ..	99
LXXXIV. «Под солнцем любви на жестокой планете...»	100
LXXXV. «Смотрят звезды с холодных небес...»	101
LXXXVI. «Не говори, что «все плохие...» . . .	102
LXXXVII. «Есть времена весны, похожие на осень...»	103
LXXXVIII. «Наперсница страстей бесплод- ных...»	104
LXXXIX. «Стоит вечерняя прохлада...»	105
LC. «Всегда хоронят здесь кого-то...»	106
LCI. «Весна и Май прошли, как сон...»	107
LCII. «Один, как перст, по улицам блуждаю...»	108
LCIII. «Единый раз тебя обнять...»	109
LCIV. «Ты и я, мы – как райские птицы...» ..	110
LCV. «Твоя улыбка и молчанье...»	111
LCVI. «А журавли летят во мгле...»	112

АРБА СУДЬБЫ

I. «Глаза его уже залиты...»	115
II. «Вот и я – свободным, вольным массажетом!..»	116

III. Бунт в диспансере	117
IV. «Он — гений валюты сточной...»	120
V. «Понимаю, когда за корону...»	122
VI. «Душу высасывает, как подстанция шахты...»	124
VII. «Град и благо земного тепла...»	125
VIII. «О, черной ночи страшный волчий вой...»	126
IX. «Как крестьянин бредущий волоком...»	127
X. «Мы всей системою огромной...»	128
XI. «Сквозь ветер, ураган и вьюгу...»	129
XII. «Предела нет — ни мысли человеческой...»	130
XIII. «Я понимаю рациональность...»	131
XIV. «Угрюмая ночь. И пустырь...»	132
XV. «Век машин, скоростей. Неплохо!..»	134
XVI. «Среди несметных «черных дыр» Вселенной...»	135
XVII. «На лоне вод, под ряской и пустынным...»	136
XVIII. «Опавшую листву земных забвений...»	137
XIX. «Что-то жизнь потеряла реальность...»	138
XX. «Лжеистины дурную славу...»	139
XXI. «В наилучшие ваши века...»	140
XXII. «Горький пропойца и не безоружен...»	141
XXIII. «Сердце устало и стало шалить...»	142
XXIV. «Когда меня тоска гнетет...»	143
XXV. «Ты, судьба моя, судьбина...»	144
XXVI. «Давно чемодан уложен...»	145
XXVII. «Философы штыки теорий точат...»	146
XXVIII. «Коротка моя жизнь работяги и человека...»	147
XXIX. «Кочую, но это, скажу, — не беда...»	148
XXX. «Я хочу помолиться...»	149

XXXI. «Право Рима — в силе, это — подло...»	150
XXXII. «Властители земли и пищи...»	151
XXXIII. «Я пьяный был. И мух ловил...» . . .	152
XXXIV. «Охраняет покой твоей жизни...» ..	154
XXXV. «Рос он смелым и сильным...»	155
XXXVI. «Дружок мой, некий Ибрашка...» ..	158
XXXVII. «Как хорошо б уснуть...»	160
XXXVIII. «И сладко, и больно в кочевье туманов...»	161
XXXIX. «Был я на грани и самоубийства...»	162
XL. «Все, что было, — как отоснилось...» . . .	163
XLI. «Не знала любовь и дружбу...»	164
XLII. «Опорочен в гражданском долге...» ..	166

ПОЕЗД ЛИТЕРАТУРЫ

I. «Кто в купейном поет, а кто — в междуна- родном...»	169
II. «Он знал томленье светлой страсти...» ..	170
III. «Видимо, надо всю жизнь томиться...» . . .	171
IV. «Я искал себя долго...»	172
V. «Не тронь поэзию мою...»	174
VI. «Я горд, что я — мастер ритмов...»	176
VII. «...Из аула в город везем молоко...» . . .	178
VIII. «Анестезия от невзгод...»	180
IX. «Был шторм. Мой катер заблудился...» ..	181
X. Полярная звезда	182
XI. «Первый снег мой, 301-й...»	183
XII. «Вокруг любого хмыря пренья...»	184
XIII. «Был бы горд, красив и смел...»	185
XIV. «Я равнодушен к разным спорам...» ..	186
XV. «Поэты, вы — птицы страданий...»	187

XVI. «Я вскормлен по-спартански в годы ли- холетья...»	188
XVII. «Счастья нет и не ждите – не будет...»	189
XVIII. «Мы не верим другим талантам...» . .	190
XIX. «Так же, как ветер...»	191
XX. «Спокойно, Мари Франсуа Аруэ, отойди!..»	192
XXI. Парашютист	193
XXII. «Одинокость – судьба поэта...»	194
XXIII. «Я видел славных истуканов...»	195
XXIV. «Завыли у леса подлунные дети...» . .	196
XXV. «Сегодня восстанешь над миром...» . . .	197
XXVI. «Пред вечностью – миг единый...» . .	198
XXVII. «Когда теряет очертанья...»	199
XXVIII. «Я жажду жизни, но не этой...» . . .	200
XXIX. «Отдыхаю, но нету погоды...»	201
XXX. «В листопаде времен...»	202
XXXI. «Ты, Поэзия, – в шелесте мая!..»	203
XXXII. «Что властелин? Его согнет судьба...»	204
XXXIII. «Молчит здесь все: вода и берег тем- ный...»	205
XXXIV. «Когда бывает одиноко...»	206
XXXV. «В пыли веков цветут мои каштаны...»	207
XXXVI. «Пою беспутного потомка...»	208
XXXVII. «Мне было все равно – какая...» . . .	209
XXXVIII. «Жизнь, предначертанная по звезде...»	211
XXXIX. «Сапожник, я всюду тебе благодарен...»	212
XL. «И здесь, в верховьях Гюрхожана...» . . .	213
XLI. «Поэт и жрец золотого Феба...»	215
XLII. Шахсей-вахсей	216
XLIII. «У вечных льдов, целуя тучи...»	220
XLIV. «Я завидую им от сердца...»	221
XLV. «В волнах рева эстрадных певец...» . . .	222

Литературно-художественное издание

Байзуддаев Али Локманович

СНЕГ И ЗОЛА

С т и х о т в о р е н и я

Редактор *Дж. П. Кошубаев*

Художник-редактор *И. Я. Кушхова*

Технический редактор *Н. М. Мокаева*

Корректор *А. Х. Алагирова*

Компьютерная верстка *А. З. Тхаитловой, А. А. Ольмезовой*

Лицензия ИД 05895 от 21.09.01

Подписано к печати 10.08.06. Формат 70х100 ¹/₃₂. Бумага офсет-
ная №1. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ.л. 9,35.

Уч.-изд.л. 6,08. Тираж 300 экз. Заказ №146

ГП КБР «Издательство «Эльбрус»

Нальчик, ул. Адмирала Головки, 6

ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат
им. Революции 1905 года»

Министерства культуры
и информационных коммуникаций КБР

Нальчик, проспект Ленина, 33

ISBN 576802073-X



9 785768 020736

Байзулла А. Л.

**Б 182 Снег и зола: Стихотворения. – Нальчик:
Эльбрус, 2006. – 232с.**

ISBN 5-7680-2073-X

**В книгу вошли новые стихотворения извест-
ного балкарского поэта Али Байзуллы.**

**УДК 894.312-1
ББК 84(2р-Балк)**